

ЭРНЕСТ КОЛЬМАН

*Мы не должны
были так жить!*

Эрнест Кольман

Мы не должны были так жить!

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22837642

Э. Кольман. Мы не должны были так жить!; Издательство

«Человек»; Москва; 2011

ISBN 978-5-904885-36-6

Аннотация

Мемуары партийного и государственного деятеля СССР и Чехословакии, доктора философии Э. Кольмана – это не только историческое свидетельство, но и прежде всего, психологические размышления одного из «последних могикан» сегодня уже почти вымершего племени революционеров-идеалистов. Эти люди пришли в революцию с наивысшими этическими требованиями, но им не удалось предотвратить вырождение системы, которую они сами помогали создавать.

Содержание

Предисловие	7
Для чего я пишу	13
Часть первая. Прага	16
В мире детства	16
Атмосфера семьи	22
Я весь в отца	32
Неважный ученик	48
Влюблен в Лилавати	57
Романтизм двух национализмов	74
Тянет в дальние страны	88
Конец ознакомительного фрагмента.	102



Эрнест Кольман

Мы не должны были так жить!

© Кольман Э., наследники, текст, фотографии, 2011

© Издательство «Человек», издание, 2011

* * *

*Посвящаю самому младшему из моих внуков и
внучек, Эрику Яноуху, родившемуся 7-го марта 1971
года*

Предисловие

Мне пришлось долго уговаривать моего тестя Эрнеста Кольмана, чтобы он написал свои воспоминания. Он начал их писать только после того, как ОВИР в шестнадцатый раз отказал ему и его жене посетить их дочь Аду, сначала – в Праге, а потом – в Швеции.

У Кольмана было много причин быть недовольным коммунистическим режимом: он писал свои мемуары в Москве, где в те времена царила особо отвратительная форма бюрократического и дегенерированного советского «коммунизма»; он начал их писать после вторжения советских войск в его родную Чехословакию; после того, как КПСС, в которой он состоял более 50 лет, вынесла ему «выговор с предупреждением» за статьи и выступления в поддержку Пражской весны. И, наконец, после того, как он в течение нескольких лет испытывал на собственной шкуре тюремные камеры на Лубянке. Несмотря на это, в своих мемуарах он временами как бы оправдывает происходившие на его глазах события.

Эрнест Кольман начал писать свои мемуары в 1973 г. и закончил их в начале 1975 г. В том же 1975 г. его воспоминания – более 500 убористо написанных рукописных страниц – были нелегально вывезены через США в Швецию. Я никогда не говорил Кольману, кто помогал при осуществлении этой операции. Быть может, ему это не пришлось бы по душе, не

показалось бы вполне «кошер». Он мучился бы угрызениями совести, поскольку такие методы плохо сочетались с его коммунистическим сознанием и верой.

В сентябре 1976 г., после ходатайства шведского премьер-министра Улофа Пальме у Леонида Брежнева, Кольман и его жена, Екатерина Концевая, получили, наконец, заграничный паспорт и приехали в Стокгольм. Кольман немедленно принял решение не возвращаться в СССР (в эту тюрьму, как он выразился) и написал открытое письмо Брежневу. В письме он ставит его в известность, что выходит из КПСС, в которой состоял 56 лет. Это письмо (см. приложение) получило на Западе широкую огласку и было опубликовано в десятках западных газет.

После приезда в Стокгольм, Кольман и его жена проделали последнее литературно-языковое редактирование рукописи, но оно не затрагивало содержания и оценок, оставшихся без изменений. Я старался понять взгляды этого старого большевика под конец жизни, и мы с ним провели сотни часов в интересных дискуссиях, часто переходивших в бурную полемику, и даже иногда – в острые споры. Я задавал ему вопросы, – и он отвечал на них. Вскоре я начал записывать наши беседы на магнитофон. В конце концов, мы перешли к записям на бумаге: Кольмана это больше устраивало. Ему было 84 года, и он довольно плохо слышал, но зато владел пером прекрасно, не хуже, чем в молодые годы. Наш диалог мы вели на немецком языке, которым Кольман владел, пожалуй,

лучше всех других языков. Когда издательство «S. Fischer» во Франкфурте получило рукопись нашего диалога, то опытный главный редактор запретил в ней что-либо менять: дело в том, что Кольман писал на пражском немецком языке начала прошлого столетия, то есть, на том диалекте немецкого, который уже давно исчез и сохранился лишь в произведениях пражских немецких писателей: Франца Кафки, Макса Брода, Франца Верфеля, Райнера Мариа Рилке и др. Диалог вышел как часть второго немецкого издания мемуаров Кольмана, во Франкфурте, в 1982 г., под заглавием *Wie habt ihr so leben können?* (Как вы могли так жить?). Сейчас, 35 лет спустя, я, быть может, формулировал свои вопросы несколько иначе, но так же как и мемуары, диалог оставлен точно в том же виде, в котором мы его с Кольманом вели.

Мемуары Эрнеста Кольмана вышли в 80-х годах в двух немецких изданиях: в издательстве «S. Fischer», а также – по-шведски, по-датски, и по-русски – в американском эмигрантском издательстве «Чалидзе Пресс», в Нью-Йорке. Чешское издание мемуаров вышло значительно позже, в 2005 году под названием *Zaslepená generace – Paměti starého bolševika* (Заблудившееся поколение – Воспоминания старого большевика), и вызвало много положительных откликов. Например, известный чешский критик Павел Косатик написал в своей рецензии: «Написать подобную книгу в форме романа было бы невозможно, – никто бы ей не поверил. Такая жизнь могла произойти лишь на самом деле».

Мы с женой подготовили для печати первое московское издание воспоминаний Кольмана. Прошло почти 35 лет с тех пор, как я впервые получил вывезенную из СССР рукопись. Я снова внимательно и подробно перечитываю воспоминания Кольмана. Я, к сожалению, должен заметить, что количество вопросов, которые я задавал автору в конце 70-х годов, только возросло. Кольман был необычайно талантливым и высокообразованным человеком. Он знал много языков, был профессором математики и философии, хорошо разбирался в современной физике, логике, истории естественных наук, в истории религии. Его энциклопедические знания во многих областях импонировали не только его друзьям, но и недругам. Так, например, бывший ректор Мюнхенского университета Николаус Лобковитц сказал о Кольмане, что тот в 1945 г. в Праге «...вызвал немедленно уважение к себе: он знал всегда гораздо больше, чем можно было бы ожидать в те времена от советского философа; прежде всего, его глубокое знание математики, физических и естественных наук, и, не в последнюю очередь, знание логики, должны были произвести сильное впечатление на позитивистски настроенный Пражский университет».

Как же возможно, что этот человек оставался так долго в неведении? Тут может быть единственный ответ: коммунизм стал для него, воинствующего атеиста, религией, церковным учением, верой. А в церкви о вере обычно спорить не принято.

Некоторые моменты в мемуарах Кольмана кажутся сегодня архаичными, наивными, даже смешными. Несмотря на это, они оставлены в том виде, как были написаны: как свидетельство той эпохи, и одновременно как свидетельство необыкновенной притягательной силы, которую имела коммунистическая идеология и которая, к сожалению, у нее есть до сих пор и, наверное, сохранится и в будущем. Мемуары являются уникальным документом, свидетельствующим о притягательности коммунизма не только для бедных и униженных, но и для образованных людей, для интеллектуалов. В отличие от фашизма или нацизма, коммунизм не был, однако, никогда побежден и разоблачен, и виновные в преступлениях против человечности не были никогда осуждены и наказаны. Преступная сущность коммунизма укрылась и продолжает укрываться за победой во Второй мировой войне, за научно-техническими успехами, за успехами в развитии и производстве современного оружия, включая ядерные бомбы и межконтинентальные ракеты.

Победителей не судят... Поэтому советский ГУЛАГ, террор ЧК, зверские по своему содержанию телеграммы и приказы Ленина и Сталина, в которых они требуют казнить тысячи невинных людей, голод в стране, десятки миллионов мужчин, женщин и детей в советских концентрационных лагерях, – все это *пока* частично прощается, так как Советский Союз был одним из трех союзных держав-победительниц, да, к тому же, является сверхдержавой...

По стечению обстоятельств, я как раз недавно, когда мы начали готовить мемуары Кольмана к печати в России, прочел несколько книг Александра Яковлева, в особенности, его книгу «Крестосев», и ознакомился с его документальной серией книг о злодеяниях коммунизма. Я не могу не задавать себе вопроса, ответа на который мне уже никогда не получить: как бы реагировал Эрнест Кольман на эти сегодня обнародованные архивные материалы, не оставляющие камня на камне в коммунистической вере и морали, в непорочности ее святых апостолов?

Текст воспоминаний мы оставили в том же виде, как 35 лет тому назад. Мы лишь внесли небольшие поправки, уточнив некоторые географические названия, имена и даты.

Мы с женой счастливы, что мемуары Эрнеста Кольмана, наконец, будут изданы в Москве, на русском языке, на котором они были написаны. Мы уверены в том, что эта книга не перестанет быть актуальной, поскольку в настоящее время Россия ищет свой новый национальный идентитет и пути к его достижению. Хотелось бы верить, что опубликование мемуаров Эрнеста Кольмана будет способствовать осуществлению этой цели.

Франтишек Яноух, Стокгольм, Июль-август 2010 г.

Для чего я пишу

Историю своей жизни я берусь написать, когда мне подходит к восьмидесяти. Уже во второй раз я приступаю к этой задаче. Еще в 23 году (мне не было тогда 31) я во время болезни набросал несколько десятков страниц воспоминаний детства (и они чудом сохранились, я использовал их сейчас), но дальше не пошел. Кроме того, в разное время, в виде статей и одной книжки («Повернувшие штыки») я опубликовал отрывочные воспоминания о некоторых своих жизненных эпизодах. Это единственные источники, из которых я могу черпать, – никаких дневников или записей у меня, естественно, не имеется, если, конечно, не считать собственную память.

Отмечаю это для того, чтобы перед собой и перед другими оправдать пробелы и неточности, которые (в чем я не сомневаюсь) встретятся здесь, в написанном.

Нарушения объективности изложения вызваны не только недостатками моей памяти и отсутствием записей. Как мне теперь ясно, я в свое время оценивал многие, причем важнейшие факты, весьма неверно. Искренне заблуждаясь, я питал иллюзии, которые затем обманули меня, но тогда я боролся за их осуществление, жертвуя всем. Спрашивается, где же гарантия, что нынешние мои оценки верны? Конечно, ее нет, и я не собираюсь навязывать кому бы то ни было свое

мнение.

Но при всем этом, несмотря на то, что здесь невольно будет содержаться не только Wahrheit, но и Dichtung¹, я субъективно честно буду стремиться писать правду, только правду и полную правду, не допуская полуправды, которая хуже лжи. Это относится прежде всего к политико-социальным оценкам, к оценкам моих личных позиций, и к оценкам людей, которые мне встречались в жизни.

И тут сразу встает вопрос: зачем и для кого я пишу все это, зная, что при данных координатах пространства и времени никто не станет печатать такую «ересь»? Разве не очевидно, что в наше противоречивое время, для характеристики которого трудно подобрать прилагательное, нельзя и помышлять об издании этой работы.

Пусть эти мои воспоминания будут чем-то вроде исповеди, которой, как считается, верующий христианин облегчает свою совесть. Что ж, у меня на совести немало грехов. Может быть, если я попытаюсь самокритически публично покаяться в них, то на том свете черти проявят ко мне при поджаривании некоторое снисхождение. А как я написал, об этом – как в таких случаях говорится – пусть судят другие. Еще одно сомнение. Вероятно, надо было писать по-чешски, на моем родном языке. Но русский стал для меня более привычным, и, кроме того, он все же обеспечивает более широкий

¹ Правда и поэзия, намек на название мемуаров Гете под названием Dichtung un Wahrheit.

круг читателей.

Часть первая. Прага

В мире детства

Вот я, маленький, играю на ковре, в углу комнаты, перед окном. Рядом сидит няня, огромная, в огромной комнате, она не то вяжет, не то чинит чулки, не то рассказывает сказку, не то поет:

Изюминки, миндаль,
Арноштеку дадим...

Нет, это ведь колыбельная песня, она здесь не причем, тут, видно, я что-то перепутал. Должно быть, все это я слышал позже, из рассказов матери.

Наплывает другая картина. Бабушкина комната. Бабушка не живет с нами, мы с мамой пришли к ней в гости. Полутемно, в нижнем этаже окно выходит в сад, оно затенено каштанами, липами. И сколько здесь рукоделия, кружев самых тонких редких узоров, самой трудной работы! Бабушка, хотя ей далеко за шестьдесят, не перестает заниматься плетением кружев на пяльцах, конечно, ради собственного удовольствия. Она ни минуты не сидит без дела. Не носит очков, глаза ей не изменили. Кружева, а также вышивки, какие-то

выпуклые, она раздаривает всей родне.

Мне года четыре-пять. Я мал ростом, голова перевешивает, то и дело падаю и набиваю шишки на лбу. Ходить к бабушке в гости я очень люблю. Как она интересно рассказывает, разговаривает со мной, как с равным, не сюсюкает, как это делают почти все взрослые с детьми. И всегда чем-нибудь особым угостит – кусочком засахаренного имбиря, или изготовленным ею же розовым печеньем из плодов шиповника. Она замечательный кондитер по профессии. Помнится, однажды, она запасла для меня огромное чудо-яблоко, говорила, австралийское, от кого-то она его получила. И тут же рассказала про заморские диковинные страны.

Но главное, какие занимательные игрушки у моей бабушки! «Чертов узел» – многогранный деревянный крест. Его надо сначала разобрать, а потом снова сложить. Первое еще и так и сяк удастся, после долгих поисков, но второе никак не выходит. И бабушка не подсказывает, она приговаривает: «Нужно иметь терпение и быть внимательным. Когда ты разбирал, ты ведь видел, как эти кусочки сложены, какой с каким. Ничего, повозись, повозись, Арноштек, постепенно научишься». Но, наконец, бабушка сжалится, отложит свои пальцы, возьмет кусочки, на которые «чертов узел» рассыпался, повертит их туда-сюда, и каким-то волшебством фокусника вся эта сложная геометрическая фигура опять цела. И так много раз, пока я не научился этому искусству. Имеется еще металлическая ручка из согнутой наподобие бук-

вы проволоки, с подвешенными на ней костяными кольцами. Их все надо снять, а потом снова надеть, но и то и другое сделать нелегко. «Игры на терпение», так их тогда называли, «математические игры» – называют их теперь.

Возможно, что они как-то приобщили меня к математике, к стереометрии, но уж никак не научили терпению. Ведь нетерпеливость была всегда и осталась и ныне одним (не единственным, конечно) моим большим недостатком.

Бабушка – мать моей матери – грузная, дородная. Лицо у нее розовое, без морщинок, глаза серые, большие, все белые зубы целы, а волосы длинные, густые, серебряные. Одевается она в темные, длинные до пола шелковые платья. Она очень любит меня, называет «маленьким философом». Но она строга, властна, у нее твердый, настойчивый характер. Что-то не помнится, чтобы она нежно ласкала меня. Наоборот, она могла ядовито издеваться над моей неуклюжестью, вышучивать мои медвежьи повадки. Но я знал, чувствовал, что все это она делает любя. А я очень любил ее, и эта любовь живет во мне до сих пор. Она умерла в тридцатых годах, перед самой гитлеровской оккупацией.

Но любил я посещать бабушку не только ради нее самой. Ведь она как бы открывала новый для меня мир, мир «сотоварищей по игре», «друзей детства». Дома я был долго одинок – единственный ребенок – мой брат Рудольф родился на пять, а сестра Марта на восемь лет позже меня. У меня не было тогда друзей.

Я не помню также, чурался ли я других детей, был ли замкнут. Скорее всего, думается, что нет, что был общителен, но от знакомства с ними удерживали меня постоянные наставления мамы и вторившей ей няни: «Арноштек, не хватай чужие игрушки, не трогай других детей!»

Больше всего я любил лодки, однако, это была сезонная игра, для лета. Сначала отец, а когда я стал постарше и мне разрешалось брать в руки Me (до этого у нас дома мама строго цитировала «Messer, Gabel, Schere, Licht, dürfen kleine Kinder nicht!» «Нож, вилку, ножницы и огня маленьким детям давать нельзя!»), то я сам вырезывал лодки из коры, снабжал их палочками-мачтами и бумажными или даже тряпичными парусами и на нитке пускал в плаванье.

Но зачем, собственно, я описываю все эти мелкие подробности? Я вспоминаю об этом потому, что большую любовь к воде, – к пруду, озеру, реке, и особенно к морю – я пронес с собой через всю мою жизнь. Ведь как ни люблю я природу во всех ее видах – луга, поля, степи, леса, горы и даже пустыни – море волнует меня глубже всего. Вновь и вновь, уже взрослым, я возвращался к мысли, что зря не избрал своей профессией профессию судового инженера, что давало бы мне возможность постоянно плавать по морям, побывать во всех новых, самых далеких странах. Ведь путешествовать всегда было моей мечтой и страстью. Но заговорив о такой «мирской» возможности выбора профессии, я должен тут же добавить, что иногда я в своих мечтах впадал в другую край-

ность: стать лесничим, все дни проводить в глубоких лесах, скажем, где-то в Карпатах, в тишине, в спокойствии.

Игры, как кукольный театр, появились уже в более позднем детском возрасте. Сцену для миниатюрного кукольного театра, кулисы, занавес, все это из картона и дерева, да и сами куклы, стандартные персонажи наиболее распространенных кукольных пьес, а также тетради их текстов, продавались в писчебумажных магазинах. Соорудить из этих реквизитов театр и поставить пьесу помогал мне отец, сам большой любитель кукольного театра. Позже, когда я подрос, я не только сам ставил спектакли, но и по-своему переиначивал пьесы, а потом, лет с четырнадцати, сочинял свои собственные. Помню две из них. Одна, шуточная, называлась «Принцесса Одуванчик, ушастая и носатая», и была в стихах. Зрителями были: мой брат и сестра, родители. Вторая, но уже не для кукол, была серьезная, на тему о подвиге библейской Эсфири. Я написал ее шестнадцатилетним юношей, в период моего увлечения еврейским национализмом, о чем еще расскажу. Ее ставили любители-студенты, в здании хлебной биржи, выручка пошла на помощь детям жертв одного из многочисленных погромов в России, кажется, кишиневского.

В раннем детстве я часто только казался играющим, в действительности же я прислушивался к разговорам взрослых. В этом они убеждались, когда я выдавал себя, внезапно вставляя в их разговор какое-нибудь словечко. В мой адрес

часто раздавалось «епГап! ТегпЫе». Играя один, я уходил в свои фантазии, мечтал, продолжал в игре сказки, одушевлял неодушевленные вещи. Впрочем, это свойство жить, когда захочешь, в нереальном мире, созданном собственной фантазией, но ничуть не менее ярком, чем действительный мир, осталось у меня на всю жизнь. Оно очень выручало меня в тяжелые времена, особенно трехкратного тюремного одиночества.

Но вот, неведомый мне мир других детей-ровесников открылся мне там, у бабушки Иоганны. Мне было тогда меньше шести, то есть меньше школьного возраста. А так как я родился в конце года, в декабре, то мне разрешили начать посещать начальную школу даже раньше шести лет. Однако не в школе, а до нее, я узнал этот странный мир других «я». Бабушка была членом еврейского благотворительного общества. Она взяла на себя обязанность надзора над сиротским приютом для девочек, который это общество содержало, была его заведующей. Там она в одной из его комнат и поселилась.

Атмосфера семьи

Мой отец (звал я его «папа́», а мать «мама́», на французский лад, или также по-чешски «татинек» и «маминка») никогда бабушку не посещал, по меньшей мере, в течении нескольких лет. Причина этой размолвки была мне неизвестна, и хотя впоследствии я узнал всю эту историю, теперь я ничего не могу толком припомнить. Подобных историй, каких-то запутанных отношений между родственниками, было как будто в нашей семье не мало. Ничего я не знал о дедушке (муже бабушки Иоганны), вероятно, его я не застал в живых. А родителей отца – вторых бабушку и дедушку – я хотя и помню отлично, но чуть ли не по одной единственной встрече. Жили они в деревне Светла близ селения Кардашова Ржечица, а Светла – это то место, где родился отец, или даже где он учительствовал, в Южной Чехии. Это край «письмаков», чешских братьев, остатков гуситов. По семейным традициям – Кольманы происходили из Северной Италии, из местности около озера Лаго-ди-Комо, из тех же мест, откуда в Чехию, в 19-ом веке, прибыли предки Больцано. Об этом я узнал позже, когда занимался биографией этого замечательного мыслителя. Если мне память не изменяет, Гёте, описывая свое путешествие по Италии, называет оба городка: Больцано и Кольмано. Мой прадед или прапрадед был скрипичным мастером и скрипачом. Дед, отец моего отца,

тоже производил скрипки и играл на скрипке, но одновременно был проповедником-сектантом. На скрипке чудесно играли и отец, и брат Рудольф, который сам и сочинял, импровизировал, и со своей скрипкой никогда не расставался. Отец и внешне был похож на итальянца, смуглый, с большими усами а ля Гарибальди. Его портрет, выполненный крупным художником, масляными красками, уцелел при нацистах, и мать подарила его мне после моего возвращения в Прагу. Он висел в нашей квартире «Под Боржиславкой». Но в 48 году, как и большинство дорогих мне вещей, пропал – его попросту украли либо чехословацкие работники госбезопасности, либо вселившийся в мою квартиру новый жилец.

Что же касается неладов между отцом и бабушкой Иоганной, то хотя я и понимал, что отцу неприятно, когда я хожу к ней, и хотя я и уважал его больше кого бы то ни было на свете, но все же отказаться от частых посещений сиротского приюта было бы мне больно. Да и отец не требовал этого. Я помню, что любил играть с девочками. Все они были одеты в одинаковые синие платья. Но играл я не со сверстницами, а обязательно со старшими, и они любили играть со мной. В приюте было свыше 60 девочек, от 6 до 18 лет. Больше всего я привязался к самой старшей, к Гермине, уже кончавшей среднюю школу. Когда однажды учительница, фрейлейн Текла (немецкая еврейка), «идейный» руководитель приюта, спросила меня, кто из воспитанниц мне нравится боль-

ше всех, я без стеснения громко заявил: «Я люблю Гермину и больше никого!» И я совершенно не понимал, почему все расхохотались, и после этого любовного признания поддразнивали меня. В глубине души я считал всех, а в первую очередь учительницу – типичный синий чулок – дурами.

Атмосфера в приюте была не ахти как здорова. Думается, что это характерно для любого закрытого детского и юношеского заведения. Сиротский приют был заведением с религиозным иудаистским уклоном, с посещением раввина по праздникам и каких-то еврейских богачей, членов правления благотворительного общества.

Надо полагать, что этот религиозный дух был одной из причин неладов между отцом и бабушкой. Отец был человеком сугубо антирелигиозным; ксендзов, пасторов, раввинов, он не выносил и называл не иначе как «длиннополые». Он не мог примириться с тем, что бабушка, женщина умная, по существу не придававшая религии большого значения, в своей личной жизни, соприкасалась так близко с этим делом, да и невольно втягивала меня в эту атмосферу. Но в отношении отца к этому вопросу все же не доставало последовательности. Он так любил играть на скрипке, что не устоял и дал согласие играть в синагоге в самый большой еврейский праздник Йом-Киппур (Судный день). Играл он чудную древнееврейскую мелодию Кол Нидрей. С другой стороны, хотя отец на практике не отличался терпимостью, в теории он проповедовал ее. (Эту нетерпимость к чужим взглядам, особенно

мировоззренческим, я, видно, унаследовал от отца, вдобавок оправдывая ее «принципиальностью», неправильно понятой мною.)

Как бы там ни было, сиротский приют долгое время был для меня чем-то светлым, чем-то выведившим меня из будней однообразной обстановки домашнего одиночества. Поэтому неудивительно, что я уделяю этому так много места, возможно больше, чем нашему «дома», которое представляло величину переменную. Мы несколько раз переезжали, все в тех же Виноградах. Родился я не то в Крамериовс, не то в Челаковского или же Коменского улице. Но названия этих улиц почему-то переменили. Позже мы жили в самых новых квартирах. Дома эти были четырехэтажные, и они, по очереди, были собственностью матери, ее приданым, капиталом, источником которого была кондитерская ее родителей, не то в Старой, не то в Младой Болеслави. В связи с какими-то неудачами с ценными бумагами или с крахом банка, где они хранились, дома перепродавались, менялись, и, наконец, переходили в другие руки. В последнем доме, на Шумавской, мы жили уже не как домохозяева, а как квартиранты, снимали четырехкомнатную квартиру. А после смерти отца в 1912 году нам пришлось переехать в Вршовице, в трехкомнатную квартиру, в более скромный район города.

Одна комната в этой квартире была парадной гостиной. Когда никого не было, я забирался туда. В ней, как правило, не поднимались тяжелые бордовые шторы, царил полумрак

и только поблескивала мебель из красного дерева, стояла абсолютная тишина. На громадном столе тяжелое бордовое покрывало с вышитыми бабушкой выпуклыми цветами и длинными золотыми кистями, до которых я любил дотрагиваться. Персидский ковер на паркетном полу. Черный запертый рояль, на котором почти никто никогда не играл (хотя мама умела, а потом училась сестра), аквариум с золотыми рыбками, трюмо с посудой и серебряными приборами, масса безделушек, книжный шкаф и полки с энциклопедическим словарем Отто – одним словом, стандартное оснащение мещанской зажиточной квартиры. Я любил, предварительно сняв обувь, забираться тайком на красный кожаный диван, стоявший в углу, и, свернувшись калачиком, грезить. Но вскоре на меня находило какое-то оцепенение, начинало звенеть в ушах, я пугался, когда большие стоячие маятниковые часы отбивали свои мелодичные удары, и насилу, чтобы не потерять сознания, выбирался из этого заколдованного царства, куда, однако, через несколько дней меня снова тянуло. Когда же бывали гости, или в праздники, в дни рождения с обязательным тортом домашнего приготовления, и шторы открывались, или зажигался свет, то все преобразовывалось, все это чародейство исчезало, и я неохотно, по требованию родителей, выходил сюда к гостям.

Здесь же на Шумавской я пережил пожар (позже, в г. Ческа Каменице пережил наводнение, а в Андижане землетрясение; зато на мою долю выпало пережить не по одному из

общественных катаклизмов).

Поскольку я пишу эти воспоминания в начавшийся век научно-технической революции, не могу пройти мимо и той эволюции техники, разумеется, не только осветительной, свидетелем которой я был на протяжении моей жизни. Помню, как керосиновые лампы-молнии сменились ацетиленом, газом, как на улицах появились сначала электрические углевые дуговые лампы, а потом уже лампы накаливания и, наконец, холодный свет. В раннем моем детстве в Праге еще ходила конка. Помню первые электрические трамваи, первые автомобили спортсменов и богачей, когда все ездили на извозчиках. А, если не ошибаюсь, в 1903 году мы ходили с отцом смотреть полет аэроплана – прибывшего из Парижа летчика Пегу. Он поднялся на своем легком фанерном моноплане на несколько десятков метров, сделал над футбольным полем, где это представление состоялось, пару-другую кругов, и благополучно приземлился, встреченный овациями зрителей. За все это зрелище настоящего чуда взималась всего одна крона.

Но техника развивалась во всех областях и проникала буквально во все поры повседневной жизни. В детстве и юности мы писали карандашами довольно плохого качества, грифелями на аспидной доске и, конечно, металлическими перьями. «Вечные» перья появились поздно, а первую шариковую американскую ручку я купил лишь в 47 году в Париже. Или взять бритвы. Они развивались от опасных к безопас-

ным и электрическим, и мы настолько привыкли к последним, что, кажется, будто других никогда и не бывало. В моем детстве консервы были представлены лишь сардинками, считавшимися деликатесом, да «железным рационом» – мясными для армии. На всю Прагу существовал только единственный магазин на улице Скоржапка, где иногда бывали такие редкие фрукты, как бананы, а также креветки, крабы и даже устрицы! Был и единственный магазин Станека на Юнгмановой улице, с чаем и живым китайцем с косой – портье, для рекламы. Ребята со всего города бегали глазеть на него.

Но вернусь на Шумавскую. Здесь я подружился с сынишкой пекаря Шубрта, пекарня и магазинчик которого находились на углу, в доме напротив. Я любил приходить в пекарню и наблюдать, как месят тесто, формуют булочки и рогалики, караваи хлеба, как сажают все это в печь. Работа шла, конечно, вручную, трудился сам хозяин и единственный его работник, но как ловко и опрятно! Во время работы они напевали чаще всего старые солдатские песни, перебрасывались шутками. Я мог часами стоять или посиживать на низкой скамеечке и тихо, с неослабеваемым вниманием наблюдать. И, разумеется, не последнее дело получить горячий маковый кренделек розанчик с изюмом и миндалем, или рогалик с солью и тмином, и есть их тут же, почти обжигаясь.

Мальчик Шубрт и я были однолетки и вместе поступили в первый класс начальной школы, которая стоит до сих пор такая же, какой я помню ее, рядом с садом, где я иг-

рал. С Шубртом мы играли в индейцев, а позже в буров. В наших играх оружием служили строго-настрого запрещенные самодельные рогатки, а также деревянные мечи и ружья. Покупного игрушечного пистолета с капсулями, о котором я мечтал, у меня (в отличие от Шубрта – как я завидовал ему!) не было. Мой отец принципиально был против «милитаристических» игрушек. В этих играх на ближайшем пустыре большая роль в нашем воображении принадлежала «катакомбам», подземным ходам, будто бы ведущим отсюда, с Виноградского холма, не то на Вышеград или Жижков, не то даже – под руслом реки Влтавы – на Градчаны. Их якобы прорыли еще в давние рыцарские, а то и более ранние времена. Нечего и говорить, что это были просто канализационные, водо- или газопроводные трубы, где, во время «боя», мы стремились устраивать засады или укрытия.

Но больше всего любил я сад, тенистый, пахнувший липами и каштанами, с беседкой – в нем чувствовал я себя свободней. Здесь нет постоянного надзора, постоянных окриков, здесь не следят за каждым твоим шагом. Считается, что наблюдение ведется из выходящих в сад окон. А мама сидит у бабушки, увлечена беседой, я один. Совсем маленьких девочек (хотя они и старше меня, ходят в школу, а я поступлю туда лишь в будущем году) я презираю, они не в счет. А большие девочки – все они мои друзья, ведь они не стесняются вести при мне свои секретные разговоры, они мне доверяют. Эти их разговоры происходили на «кухонном» чешском

языке, в то время официальным языком приюта был немецкий. Как негодовал и возмущался отец тем, что это учреждение занималось германизацией девочек, попадавших сюда чаще всего из чешских краев. Эти богатые евреи – пытавшиеся ассимилироваться немецкой среде, стремились показаться превосходными немцами, австрийскими патриотами. А ведь было так: в приют принимались еврейские сиротки, безразлично с чешским или немецким языком, но поступали отсюда все без исключения в немецкие школы. А фрейлейн Поллак знала только «кухонный» чешский язык. Понятно, что добрая половина девочек теряла год, а то и больше на изучение немецкого, не успевала в начальной школе, где над ними смеялись, обращались как с тупицами или лентяйками, не говоря уже об антисемитизме, который чувствовался среди немцев сильнее, чем среди чехов.

Все это сильно волновало отца. Но приют был благотворительным учреждением, частным делом и, разумеется, австрийские власти покровительствовали германизации.

Еще о нашем «дома». Прямой противоположностью большой парадной гостиной, была кухня. Несмотря на ее просторность, в ней всегда казалось тесно. Зато она была светлая, вся сияла, блестела посудой, кастрюлями. Для меня она считалась запретной зоной. «Арноштек, не ходи на кухню!» был один из многочисленных заветов, которые, однако, иногда мною нарушались, что, впрочем, у людей случается и с заветами скрижалей Моисея. Разве не любопытно наблю-

дать, как девушка, – «домашняя работница» Андудька или Боженка – они время от времени менялись – она же и кухарка, готовит, как разными незатейливыми ручными машинками там и мясо мелют, рубят, и картошку и морковку чистят, хлеб режут или сливки взбивают. Я клячил разрешить мне тоже повертеть ручку, и, конечно, за свой «труд» получал вознаграждение – лизнуть.

Особое значение получала наша кухня осенью, когда варили варенье. Однако тогда уже пускали меня туда вполне законно. Сама мама усадит меня на высокий стул, завяжет на мне большой фартук, и вместе с ней я наблюдаю за всей этой церемонией. Но в то время как мама помогает своими советами, я «помогаю» тем, что выскабливаю нарочно с излишком оставленные пенки – остатки себе в рот. Скажу еще, что варенья варили у нас много сортов и сам процесс закупки ягод и фруктов для варенья был очень привлекателен. Их покупали на Тыловой площади – специальном базаре фруктов и овощей, куда я очень любил сопровождать маму и домработницу. Один вид этих пестрых красок на прилавках под простыми навесами или зонтами, за которыми сидели привезшие всю эту яркую снедь крестьянские бабы, одетые в национальные костюмы – чего стоит!

Я весь в отца

Дом на Шумавской улице, в результате все более нисходящих трансакций с ценными бумагами, был последним «нашим». Должно быть, эти потери привели к тому, что мои родители вынуждены были сократить свои расходы, а затем и потеряли эту недвижимость. У мамы это вызвало недоверие ко всякого рода финансовым операциям; презрение и ненависть к банкирам и биржевикам – у отца.

Отец, хотя и был строг и взыскателен, бывал всегда ласков. В то же время он был очень вспыльчив, и мог, сильно рассердившись, выйти из себя, однако, вскоре остывал, и во всяком случае не был злопамятен. Вспыльчивость – это один из моих недостатков (не говоря уже об упрямстве, «твердая головушка», как говорят чехи), который особенно сказывался в молодости. В состоянии аффекта я мог наговорить черт знает что, накричать, навредить себе, а потом, охладев, жалеть об этом. Но, как и отец, я быстро остывал, и если меня обидели, забывал, прощал обиду. Типичный характер холерика. С возрастом эта моя вспыльчивость постепенно стала уменьшаться, но горячность все же осталась, даже и ныне, в старости. Всякий раз, когда мне приходится выступать, все равно, с докладом или с лекцией, пусть в энный раз на ту же тему, я вновь и вновь горячусь, волнуюсь... У отца была привычка говорить очень отчетливо и громче, чем обычно

говорят люди – это осталось у него от учительствования. Мама и ласкала, и чуть-чуть бранила меня одновременно. Она всегда о чем-нибудь хлопотала. Этот беспокойный ее характер я тоже унаследовал.

Отец занимался со мной, учил, воспитывал. Как я потом узнал от товарищей-школьников, в нашей среде это тогда было редким явлением. В других семьях отцы свое свободное время коротали за кружкой пива и картами в кругу друзей, за собственными интересами, или за развлечениями с супругой или на стороне. Отмечу, что не помню, чтобы отец когда-нибудь курил, ни сигарет, ни сигар, ни трубки, хотя у него всегда имелась большая коробка дорогих сигар «гавана» для гостей, а в его кабинете висела длинная черная трубка, с нарисованной на ее фарфоровой белой головке охотничьей сценкой, трубка с двумя зелеными кисточками. Чубук длиннее этого мне пришлось позже увидеть лишь у Ярослава Гашека. Гашек ухитрился провезти эту свою трубку в самую Сибирь, через фронты гражданской войны из Киева, где, как он рассказывал, раскуривая ее, ему ее подарил чешский пивовар. Я, как и отец, никогда не курил, и даже за всю свою жизнь ни разу не пробовал курить, в какой бы тяжелой обстановке, при которой чуть ли не каждый курит, я ни находился. Что же касается алкоголя, то виноградное вино было редкостью у нас дома. В праздники рюмочка или две. Однако пиво отец любил, конечно, в меру.

Как я уже сказал, отец моего отца был скрипичным ма-

стером, чешско-братским проповедником и учителем в деревне Светла у подножья Шумавских гор, в захолустье «на Блатнэй», где мелкие арендаторы громадных фидейкомиссных поместий князей Шварценбергов были пропитаны бунтарским сектантством гуситизма. Отца воспитывали религиозно, готовили в проповедники. Но он каким-то образом – здесь у меня пробел – приобщился к светскому знанию, к крамоле, и даже к вольнодумству, и, будучи горячего и настойчивого характера, четырнадцатилетним подростком порвал с семьей, сбежал из дому, вырвался из захолустья. После долгих странствований, он очутился в городе Колине. Здесь он работал упаковщиком на стекольном заводе, потом на зеркальной фабрике, в цехе. Но жажда знания его не покинула. Он стал посещать вечерние курсы, сдал экзамен, поступил в среднюю школу. Не имея средств, он жил общественной благотворительностью, обедал то у одного, то у другого энтузиаста нарождавшейся молодой чешской буржуазии, его увлекало это течение, возрождение чешского народа, чешского языка, борьба с австрийским абсолютизмом. Он перешел из средней школы в педагогическое училище, жил уроками, которые давал неуспевающим школьникам – сынкам зажиточных людей, окончил училище и стал сельским учителем. Так он достиг своей цели: идти в народ, пробуждать его национальное самосознание, воскрешать полузабытую чешскую культуру, изучать быт народа, мечтать об избавлении от ненавистного австро-венгерского ига, от гер-

манизации, от двуглавого орла и черно-желтого знамени.

Этот революционный национализм был у отца тесно связан с его атеизмом, с воинствующей антирелигиозностью. Католическая церковь, по выражению выдающегося чешского философа Августина Сметаны, который сам был ксендзом-отступником, всегда была «подушкой» светской деспотической власти. Для моего отца не только «Вена» и «Рим» были одинаково ненавистны, но и всякую религиозную веру он считал поддержкой монархии. Ему так много пришлось перенести из-за фанатизма сектантов, что он хладнокровно, без злобы, – я бы даже сказал сейчас, с той же сектантской нетерпимостью, – не мог говорить о религии, что прямо-таки физически не переносил священников любого вероисповедания. Учительствовать он начал в знакомых ему родных местах, «на Блатнэй», а потом где-то под романтическим замком Орликом. Но учителем он был недолго. Через год или два он заболел воспалением легких, у него началось кровохарканье, врач запретил ему продолжать преподавание. Он не знал, чем жить, куда ткнуться.

Случайное знакомство с местным почтмейстером толкнуло его в почтовое ведомство. Он быстро подготовился и сдал экзамены по требуемым предметам на государственном немецком языке, которым он тогда еще не очень бойко владел. Ему дали в маленьком городке место низшего, нищенски оплачиваемого чиновника, нечто вроде приемщика почты. Но не прошло и пяти лет, а он уже в столице, про-

двигаясь по чиновничьим рангам все выше, настойчиво сдавал один экзамен за другим. Случайно он познакомился с мамой, влюбился в нее с первого взгляда, они поженились. Между прочим, это свойство «роковой» влюбчивости с первого взгляда передалось и мне «по генам», и оно несомненно стимулировалось еще и тем, что я в детстве бывал столько в среде девочек в сиротском приюте.

Про обстоятельства первой встречи моих родителей знаю, что мама была завсегдаем вечеринок, человеком веселым, жизнерадостным, но никогда раньше не посещала те круги, куда пришла в тот вечер. Ведь это было чешское общество, а она вращалась исключительно в еврейско-немецком. Ее воспитали в таком же пансионе. Она тогда и не умела как следует говорить на языке «кухарок и дворников», каким чешский язык считали тогда немцы. А отец не посещал вообще никаких вечеринок, а тем более танцулек. Но на этот раз приехали старые товарищи по педагогическому училищу, уговорили его, затащили туда насильно – мол, должен сыграть на скрипке. И он играл, и мать и отец «нашли друг друга». Национализм и вольнодумство не помешали отцу совершить такую вопиющую «измену». Но ни в коем случае в этом не могло играть какой-либо роли то, что мама была богатая невеста, с большим приданным, достаточным для того, чтобы на него купить доходный дом, что она – дочь владельца кондитерского производства. Это не могло играть роли уже потому, что отец и не знал об этом, когда объяснялся

ей: она долго разыгрывала его (из каприза, или чтобы «испытать» его), утверждая, что она круглая сирота и служит гувернанткой у дальних родственников – все это я знаю по ее рассказам.

Мне известно, что моя мать – тогда восемнадцати-двадцатилетняя девушка – была ужасно наивна. Ее духовной пищей были романы Марлит из аристократической жизни, слащавосентиментальной дамы, чьими творениями зачитывались тогда девицы, начиная с институток и кончая домашней прислугой. В отце мать могла полюбить его нестандартную внешность, и то, что он вообще не был похож на тех холеных молодых людей, с которыми ей до тех пор приходилось знакомиться. Отец был выше среднего роста, худощав, строен, с красивыми руками музыканта большими темно-кариими глазами, выглядывавшими из-за пенсне. Он носил длинные, гладко причесанные назад волосы, иссиня-черные, такие же усы, густые и закрученные вверх. Его громкий голос и выражение лица быстро менялись. Он не был привычен к вечеринкам, а поэтому вел себя не манерно, как было принято, а непринужденно просто. Но благодаря своей гибкости (у него была быстрая, изящная походка), он вовсе не производил впечатления неуклюжего провинциала.

Вот как я себе воссоздал первую встречу моих родителей. Родители моей матери не особенно обрадовались такому жениху: какому-то бедному чинуше, вдобавок чеху, «гою» и «безверцу» – человеку, воспользовавшемуся недав-

но изданным законом и официально вышедшему из церкви, что чуть было не привело к его увольнению из почтового ведомства. Но на сторону моей матери стала ее мать – моя бабушка Иоганна – уломавшая своего мужа фабриканта-кондитера дать волю единственной дочери. Карьера моего отца этим браком косвенно выиграла: он увеличил свое рвение и успешно карабкался вверх по иерархической лестнице. Уже при моей жизни – а я родился на второй или третий год после брака родителей – мой отец принял участие в конкурсе по случаю открытия в мировом курорте Карлсбаде (Карловых Варах) нового здания почтамта, куда требовались чиновники со специальными «международными» знаниями, со знанием языков, международных почтовых конвенций, и т. п. Он удивительно быстро подготовился и выдержал трудные экзамены. Назначение в Карлсбад он, правда, не получил (как он утверждал, из-за политических соображений назначили, конечно, немцев), но все же сразу перепрыгнул в категорию высших чиновников.

Вот он, отец, сочетание фанатика и идеалиста, с упорной энергией борьбы за существование. Тут, в одном и том же шкафу висит его мундир: парадная форма директора округа почт и телеграфов, оранжевые лампасы и нашивки, золоченые пуговицы с изображением ненавистного австро-венгерского двуглавого орла, стоячий высокий оранжевый воротник с жолудеобразными золотыми розетками (эмблема императорского дома Габсбургов), плетенные из золотых шну-

ров эполеты, треугольная комичная шляпа, «обросшая» черным пухом. И тут же простая потрепанная штатская одежда, та, которую он надевает в настоящие свои праздники, когда превращается в туриста, с рюкзаком за плечами и суковатой палкой в руке вспоминает свою молодость. Во много раз милее ему эта дубовая палка со стальным острием, чем смешной кортик, который приходится ему, ненавидящему все эти условные обрядности, нацеплять в государственные праздники, чтобы в белых лаковых перчатках, вместе с другими чиновниками, стоять в передней наместника или другого высокопоставленного лица. А все-таки, несмотря на свою искреннюю ненависть, как мне кажется, он не расстался бы с этим своим чином. Он стремится продвинуться выше. Он честолюбив, гордится тем, что собственным трудом, собственными усилиями «вышел в люди», что, несмотря на его политические взгляды, которые он не скрывает (конечно, не выходя за рамки закона), его не могут отставить и даже в меру выдвигают.

Странно мне теперь подумать, что эти два человека – отец и мать – люди, как будто мало подходившие друг другу, жили столько лет – 24 года – вместе. В самом деле, какие разные характеры, разный склад ума, разный кругозор, разные интересы! Отец – горяч, фанатичен, вспыльчив, мать – холодная, флегматичная, бесстрастная. Она – успокаивающаяся на каком-то месте, он – постоянно мыслящий, ищущий, беспокойный, непоседливый. Интересующийся всем – наукой, по-

литикой, искусством. Она – вращающаяся в привычном кругу интересов о доме, семье, родне, театре, «обществе». Разве они могли быть, разве они были счастливы? Почему-то мать потеряла свою веселость, свою былую удачу, бойкость, которыми, как она сама рассказывала, она отличалась в молодости. Разве не потому, что чувствовала, что она не чета отцу, что ей не взлететь на те высоты, куда взлетал он, что стала слишком грузна не только плотью, но и духом? А отец? Почему это он бывает вечером, в «черный часочек» (в сумерках), когда, хотя уже стемнело, нарочно не зажигают свет, так печален, поет всегда грустные песни и играет еще более грустные мелодии? Почему он несравненно больше внимания уделяет мне, чем маме? Разве не потому, что ему тяжело живется, что он одинок, непонят? Все его попытки найти в маме отклик, по-видимому, комкаются, упираются в стену. И хотя он и старается скрывать все это, но мама знает, чувствует, – она ведь вовсе не глупа, а, наоборот, очень чутка. Тогда она становится печальной, растерянной, и улыбается беспомощной, какой-то глуповатой улыбкой. У нее эта улыбка – признак величайшего волнения, смущения, а иногда и душевной боли. И эта ее улыбка еще больше раздражает отца. Эту улыбку матери я унаследовал. И она приносила мне немало горя. Бывало, в школе напроказничаешь, учитель сделает замечание, а я – улыбаюсь этой дурацкой улыбкой, на деле сопровождающей раскаяние, чем усиливаю его гнев. Ведь он-то не знает, что мне плакать хочется, а думает,

что я смеюсь над ним!

Мама лишь постепенно овладела правильным чешским языком, тем чистым, строгим, красивым, пожалуй, даже немного педантичным, на котором говорил отец, и на котором говорили в кругах, где он – вне службы – вращался. Отец поэтому не вводил ее в свою среду, хотя, возможно, у него даже не было долгое время своего «общества» в столице – и всем этим вновь закреплялось это отчуждающее родителей положение. Было бы, конечно, преувеличением назвать его разладом, но как бы там ни было, мое сочувствие было на стороне матери, которую я жалел. Вероятно, это смутное чувство содействовало тому, что я – как я расскажу в дальнейшем – «переметнулся» от отцовского чешского национализма к еврейскому, так сказать, на сторону матери.

По существу религиозно холодная, безразличная, мама (которая, когда я стал постарше, высказывалась весьма скептически насчет существования бога: мол, если бы существовал всемогущий и всеблагий бог, то как он мог бы терпеть все те безобразия и несправедливости, которые беспрестанно творятся на земле», не то что по инерции, а благоговейно любила кое-какую религиозную восточную еврейскую обрядность. С трудом выговаривала слова по древнееврейскому молитвеннику (читать она его умела, и меня научила азбуке), но напечатанный рядом немецкий перевод молитв (по реформированному, не ортодоксальному культу), не интересовал ее, казался ей скучным, пустым. Можно было по-

думать, что она просто тешится узорами букв квадратного шрифта, странными звучаниями слов, причем вряд ли понимала больше дюжины из них.

Влечение к незнакомым, «таинственным» шрифтам свойственно было и мне. У меня с юности имелаась брошюрка Британского библейского общества – реклама его изданий переводов Библии на многочисленные языки, содержащая один из стихов евангелия Иоанна («Ибо так Бог возлюбил мир...») на многих десятках языков. Я ею очень дорожил. Арабский шрифт, китайские иероглифы, обе слоговые японские азбуки – катакана и хирагана, индийские дева-нагари и бенгали, древне-германские руны, армянский, грузинский, монгольский шрифты, и, конечно, древнеегипетские иероглифы, гератическое и демотическое письмо, как и пиктограммы американских индейцев, – все это меня чрезвычайно занимало. Вероятно по той же причине я в средней школе стал посещать необязательные уроки стенографии, выучил ее, а затем, будучи уже в Советском Союзе, приспособил себе чешскую к русскому языку. И хотя я редко упражнялся в ней и не дошел до парламентской скорости, все же владел ею настолько, что однажды, когда не пришла стенографистка, сумел довольно сносно записать доклад Каменева на заседании Московского комитета партии.

Но, конечно, чтение древнееврейского молитвенника, которое бывало, впрочем, редко, по большим религиозным праздникам, с подсознательной традицией молодости, со

смутными образами школы, где она училась (а она сначала посещала религиозную школу «хедер»), с образом ее отца, братьев, друг. В синагогу она ходила крайне редко. Отец делал вид, что все это ему безразлично, что это ее частное дело, но в действительности нервничал, злился. Поэтому меня мама не хотела брать с собой. Но, разумеется, я все равно из любопытства настоял.

Как необыкновенно выглядела эта Виноградская синагога! (Гитлеровцы сравнивали ее с землей, потому вероятно, что золотые шестиконечные звезды «щит Давида» на ее двух башнях, были видны высоко над панорамой Праги). Совсем непохожая ни на пасмурный католический костел, ни на такую же мрачную старинную синагогу, каких в Праге было несколько, в том числе и древнейшая в Европе «старо-новая», а также ни на трезвую, казарменную евангелическую молельню. Здание у нее было высоченное, все белое и золоченное внутри, розовое снаружи, в ложно-мавританском стиле, с множеством арабесок, и яркого электрического света (лампочки в виде свечей), но, конечно, без образов, икон, хоругвий, всего того, что запрещает иудаизм. Мужчины сидели в зале внизу на скамьях с высокими спинками, женщины на галерее, полускрытые от взоров мужчин. Когда я, еще совсем маленький, впервые выклянчил у мамы разрешение сопровождать ее, меня снисходительно, в нарушение всех правил, пустили к женщинам. Позже я сидел в самую глубь зала, к мужчинам с покрытой головой, и смотрел, как они,

не снявши шляп, в талесах, углублялись в свои молитвенники, и вторили странным беспокойным бормотаньям кантора, одетого в черный талар, читавшего нараспев перед амвоном. Но вот кантор начинает петь по настоящему. У него чудный баритон, так подходящий для старинных древнееврейских мелодий, в ответ поет хор, играет орган. Это особенность реформированного культа, подражающего христианскому. В ортодоксальном иудаизме эта «языческая мишура» не полагается. А здесь хор женский, поют хористки нееврейки, из городского театра, а соло поет известная певица-христианка.

Богатые евреи, в особенности еврейки, посещают по большим праздникам синагогу только для того, чтобы послушать музыку, пение, повидать знакомых, показать свои туалеты, наряды последней моды, выписанные из Вены и Парижа. Брезгливость, отвращение к ним и ко всему показному, к размалеванным личинам и вызывающим нарядам, привилось мне рано со слов отца. В этом отношении – под его же влиянием – моя милая скромная мама ушла далеко вперед от своей бывшей среды.

Мы с отцом, как только выдавалось в течение года свободное время и благоприятная погода, отправлялись на лонно природы. Еще в дошкольном возрасте мы излазили с отцом «Шарку» – дикую романтическую местность – большое ущелье, вроде каньона под самой Прагой (теперь недалеко от аэродрома Рузынь). Это ложе дилувиальной реки, согласно легенде, место, где предводительница матриархата Шар-

ка сражалась в битве с мужчинами. Но я уже в этом юном возрасте посетил также «Святоянские Пруды» в Штеховицах, – пороги реки Влтавы, где тогда с колесного парохода переходили на особый паром, молнией несшийся среди водоворотов и скал. Зрелище это было жутко захватывающее.

Отец таскал меня по всем музеям, водил в картинную галерею, к изумлению знакомых, считавших его чудачком. Такое воспитание развивало во мне чрезмерную, не по возрасту, впечатлительность.

Внимание, уделявшееся мне отцом, быстро развивало мои способности. Моя любознательность – а, возможно, любопытство – не знало предела. Мама чуть ли не до самой смерти вспоминала, как я приставал к ней, надоедал вечными расспросами, что позднее не делали ни мой брат, ни сестра, как я мучил ее вплоть до прихода отца со службы, который один умел подойти, успокоить меня, да больше того, занять мой ум, воображение, дать мне новую пищу для новых расспросов. При этом отец не учил меня, не обучал в принятом смысле слова. Ему всегда было противно наблюдать родителей, натаскивающих своих чад для показа: «Покажи, деточка, как хлопаешь в ладошки!», «Прочитай стишок про птичку», «Спой песенку», «Считай до десяти!». Он рано купил мне кубики с картинками и буквами, но строго-настрого запретил маме и няне натаскивать меня, а сам объяснял значение букв, только после моей настойчивой просьбы. Не знаю точно, сколько мне было лет четыре или пять – когда я вы-

учил буквы и начал читать по слогам. Но твердо знаю, что в дошкольном возрасте я уже умел читать, что читал для себя вслух и по-своему понимал прочитанное, простые сказки и рассказы для детей.

К моему пятому дню рождения среди подарков была книга чешских народных сказок Божены Немцовой. Эту книгу я перечитывал снова и снова, рассматривая цветные иллюстрации Миколаша Алеша, жил этими сказками. И эта книга – напечатанная на крепком картоне – сохранилась еще для брата и для сестры, с надписью посвящения ее мне и датой 6 декабря 1897 года, как свидетельство моей ранней грамотности. От чтения у меня еще больше развилась любознательность. Я стал задавать больше вопросов, в том числе придиричивых и щепетильных. Так, по рассказам мамы, уже в первое время, когда я едва научился складывать буквы, на прогулке я медленно тащился, останавливаясь перед каждой вывеской. Прочитав вывеску «Porodní bába» («Повивальная бабка»), я пристал к маме: «Расскажи, что это за бабушка!», и она, смущенная, насилу от меня отделалась. Вернувшись домой, мать все это рассказала отцу, и отец, приспособляясь к моему детскому пониманию, стал объяснять мне половой вопрос. Как бы там ни было, когда я начал посещать школу, я знал основы тайны зачатия и рождения человека и животных, и стал просто, естественно относиться к ним. Так был, не в пример другим мальчикам, которые или верили в аиста, или грязно хихикали и шушукались, найден выход.

Правда, эта простота отношений к половому вопросу заключала для меня и неудобство. Отец не посвятил меня в общественную сторону этого вопроса, и я не подозревал, что другие иначе смотрят на вещи, что они скрывают, прячут все это как какой-то позор, не подозревая, конечно, сколько ханжества за всем этим скрывается. И вот, однажды, случайно заговорив с мальчишкой по фамилии Копецкий вполне открыто об этом, я натолкнулся на смехотворно нелепые представления, – какую-то смесь «аиста» и чего-то теперь уже позабытого, грязного, отталкивающего. Я объяснил ему, как умел, но мальчик почему-то обиделся и наябедничал на меня дома. На следующий день в школе появилась его мама, пожаловалась учителю на меня, «развращающего» ее сыночка. Вызвали моего отца, дошло до столкновения между ним и директором школы. Потом, дома, отец попеременно то сердился (но не на меня), то покатывался со смеху, а мама всхлипывала. Наконец, отец кое-как разъяснил мне, в чем дело и «утешил» сообщением, что меня чуть было из школы не выгнали. Я должен был обещать, что о том, как родятся дети, я больше ни с кем не стану говорить. Это обещание я сдержал, что было тем легче, что меня сразу перевели в другой, параллельный класс, где ни с этим Копецким, ни с учителем, замешанным в эту историю, мне не пришлось сталкиваться.

Но, понятно, этот инцидент уронил как следует в моих глазах авторитет школы.

Неважный ученик

Сам переход в школу мною забыт. Помню только, что я поступил в нее в нарушение закона, в сентябре, хотя шесть лет мне исполнилось лишь в декабре. Приняли во внимание то, что я уже неплохо читал, и, должно быть, повлияло положение моего отца. Учился я с самого начала неровно. В то время как другие мальчики (школа была мужская) только еще учили буквы и учились складывать их, мне на этих уроках чтения бывало скучно. Что касается обучения письму, то дело продвигалось труднее. Я знал форму букв, но не умел как следует выводить их карандашом на бумаге, а еще трудней это удавалось чернилами – пером. Выходило грязно, размазано, неряшливо. Я писал с размаха, ставил одну кляксу за другой. А главное – буквы я ставил не косо с наклоном в правую сторону, а прямо, вертикально к линейкам, писал не кругло, а угловато.

Замечу, что устойчивость почерка явилась одной из причин того, что я не могу согласиться с отрицательным мнением о графологии, согласно которому графология, так же как психоанализ, является лженаукой. Что в почерке человека должен как-то – пусть опосредовано – отразиться его характер, и что, следовательно, возможно по почерку не только идентифицировать индивидуальность писавшего (что практически широко применяется в криминалистике),

но и узнать некоторые черты его характера и даже настроение в момент написания – как мне думается, не находится ни в каком противоречии с научным, материалистическим мировоззрением. Впрочем, я убедился в этом лично с несомненностью, а как именно, расскажу сразу здесь, в этом отступлении. Студентом, я прочитал в газете объявление графолога, предлагавшего за небольшую плату, высылаемую почтовыми марками – причем его ответ можно получить до востребования, не указывая своего имени, чем исключается возможность, что графолог может обмануть, предварительно получив информацию о личности писавшего – по почерку любого написанного на полстраницы текста, определить характер написавшего его. Я рискнул кроной (или двумя, не помню), и что же? Быстро получил ответ, в котором поразительно были не только неліцеприятно отмечены все отрицательные черты моего характера, как: торопливость, вспыльчивость, упрямство, влюбчивость, и т. п., но было указано также, что я способен к абстрактному мышлению, в особенности к математике, и хотя я люблю фантазировать, мечтать, мой ум больше аналитический, чем синтетический и так далее.

Но не только чистописание, которому тогда в школах придавалось большое значение (ведь пишущие машинки были еще редкостью, имелись лишь в больших конторах), и не только рисование, но и арифметика удавалась мне с трудом. Правда, не было задачи, которую я бы не понимал, не знал,

каким путем решить ее. Но также не было почти случая, чтобы я в самом вычислении, в умножении, а тем более в делении, не сделал какую-либо ошибку. Вся проблема была в таблице умножения. Сколько крови она мне перепортила! Сначала мы заучивали «малую», до 9×10 , а потом «большую», до 9×100 . А я противился этой зубрежке. Но, ведь, например, на стихи память у меня была отличная, я быстро и прочно их запоминал, особенно те, которые нравились мне своим содержанием, ритмом, некоторые из них я помню до сих пор. Но запоминание цифр было мучительно. Пять лет учился я в начальной школе, и пять этих лет были сплошной мукой по арифметике и сплошным праздником по родному языку.

Нужно еще рассказать о наказаниях. В Чехии общепринятыми были тогда телесные, попросту битье. Детей били дома в семье, били в школе. За то, что я писал прямыми, а не косыми буквами, учитель бил меня по пальцам и ладоням линейкой, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе, будешь писать как люди!» У нас дома на кухне висела трость – их специально продавали для битья детей. Но мне чаще всего перепали просто сорвавшиеся в гневе шлепки, редко подзатыльники или пощечины, а уж в виде исключения как наказание за большой проступок, систематические удары этой злополучной тростью по мягкому месту.

Насколько мне помнится, я никак не мог усвоить школьную дисциплину. Полагалось проситься отвечать подняти-

ем правой руки, а я порывисто соскакивал со скамьи, и без спроса вставлял свое слово. За это немало доставалось, случалось, что оставляли после уроков в классе, и в наказание еще заставляли бессмысленно переписывать целые страницы. Разумеется, этим все не кончалось. Дома мать стыдила, бранила, за «безнравственное» поведение. Повод к неприятностям давала и моя рассеянность, невнимательность к тому, что происходило во время уроков.

Кроме распроклятой арифметики, нелегко удавались и «побочные» предметы – рисование и пение. Мои рисунки были, как правило, ужасно замусолены, а, следовательно, браковались. А с пением было другое. Я почему-то невзлюбил учителя пения, и прямо-таки нарочно петь не желал. И хотя у меня был кое-какой музыкальный слух, я не развил вовсе своего голоса, а также не стал учиться играть. Но из этого не следует, будто я относился безразлично к музыке и пению. Глубоко в памяти у меня запали уже упомянутые вечерние часы, когда отец, бывало, поет и играет, – иногда даже из «Влтавы» Бедржиха Сметаны, или соло из какой-либо его оперы, – разве я не жил этими чудными звуками?

Если мои успехи в школе были всегда неважны, то мой кругозор за эти годы значительно расширился. Но прежде всего изменилась обстановка. В семье рос брат Рудольф, а позже родилась сестра Марта. Помню, что когда Рудольф достиг четырех-пяти лет, у него проявился тяжелый характер драчуна: заупрямится, войдет в ярость, бросается на пол,

брыкается и колотит ногами, как лошадь, и зычно орет. Понятно, что в отношениях к младшему брату и сестре я выступал как совсем «взрослый». В дальнейшем у меня сложилось неодинаковое отношение к обоим. Мартичка, как ее все звали, пользовалась моим безграничным, безоговорочным покровительством. Рудольфика я порядком недолюбливал, может быть, за его непокорный характер, за упрямство, еще большее, чем мое собственное, за обиды, которые он, не стесняясь, наносил сестричке.

Но вместе с тем, у Рудольфа было необыкновенно мягкое, впечатлительное, полное жалости сердце. И хотя в нем отсутствовал интерес к школьному чтению и внимательность, а преобладало веселое баловство, он был очень одарен, быстро схватывал, но особенно его влекло к ритму, к музыке, к пению. Уже в самые молодые годы его голоском восторгались, как и позднее его игрой на скрипке, песнями, сочиненными им самим, импровизациями и композициями. У Марты был ровный, спокойный, мечтательный, полный нежности характер. Громадная впечатлительность, большое прилежание, усидчивость, дарование к отвлеченному мышлению. При этом она столь же прекрасно пела, как и рисовала и писала сочинения.

Как выглядели мои брат и сестра, какими они мне помнятся? Их фотографии, которые я получил в 45 году, когда вернулся в Прагу, от мамы, пропали при моем аресте в 48. Самая характерная черта внешности Рудольфа – это его

кудрявая, как барашек, черная голова и большие лучистые глаза, гибкая подвижность всей его невысокой фигуры, красивые, тонкие руки скрипача. Марту я (да и не только я) считал восточной красавицей, не смазливой, а своеобразной, ее полуеврейское и в какой-то небольшой доле итальянское происхождение делало ее похожей на египтянку. Это, между прочим, сказалось и на моей дочке Аде, которая очень похожа на Марту. Темно-карие глаза Мартички отличались глубиной и добротой, а длинные, особого оттенка черные косы она, по тогдашней моде, заплетала венчиками над ушами. Очень грациозная, она обладала большим художественным вкусом и редким голосом, меццо-сопрано, тонким музыкальным слухом.

Между тем в моей школьной жизни происходили незначительные перемены. Я переходил из класса в класс, хотя и плелся с самыми посредственными учениками. Не готовил уроков, шалил, грубил учителю, зачитывался Жюлем Верном и Карелом Майем с его индейцами, тяготился школой и жил ожиданием каникул. На каникулы мы всей семьей ездили в Северную Чехию, в настоящую деревню, в Бехчин, расположенную среди тихих лесов с пасаками, с вишневыми аллеями, с большим прудом, громадными равнинами пшеничных полей, со знойным солнцем, всем чешским деревенским бытом, этим сочетанием кирпичных, крытых черепицей, добротных, красивых домиков, бетонных хлевов и амбаров, благоустроенных шоссейных дорог, хорошо упитан-

ных коров и лошадей, многолемешных плугов, молотилок, сеялок, и остатков чешских национальных костюмов – многослойных юбок на женщинах, как «шкурок у луковицы», по воскресеньям, их пышных чепцов, расшитых блузок, праздников урожая с гармошкой. Позже мы ездили в горы, в Чешско-саксонскую Швейцарию, на границу Чехии с Германией, в местность, заселенную преимущественно немцами.

С этой местностью, с городком Чешская Каменица, связано у меня очень многое; бродячая жизнь среди дикой природы, первая «настоящая» влюбленность, и первое острое ощущение социального неравенства, классовой природы общества, в котором я жил. Но все это относится уже к тому времени, когда я переходил из начальной школы в среднюю, и когда десяти-одиннадцатилетним стал внезапно «самостоятельным», так как перестал жить с родителями и превратился в нахлебника вдали от семьи. Дело в том, что как раз когда я должен был начать посещать среднюю школу, отца повысили в чине и перевели в провинцию, в Чешскую Каменицу, директором почты. Это было в духе австрийской политики «Divide et impera!» («Разделяй и властвуй!») – постоянных перебросок чиновников той или иной национальности в места, заселенные жителями другой национальности.

Чешская Каменица – городок небольшой, но все же промышленный, с хорошими электрифицированными текстильными фабриками, бумажными, машиностроительными и спиртными заводами. Расположен он очень живописно, на

горной речке, среди извилистых, покрытых сосновыми борами гор, с развалинами рыцарских замков-крепостей на базальтовых скалах над горными потоками, с небольшими водопадами, с озерами. Еще перед переселением всей семьи, мы там прожили каникулы. Поселились мы в вилле одного из местных фабрикантов, Пильца. Вилла эта стояла в большом, полуискусственном, полудиком саду, с множеством фруктовых деревьев и кустов, с большим прудом посередине, где имелся и островок с фонтаном и гномами, подбрасывающими три разноцветных, стеклянных шара, и купальня, и беседки, и запущенные, заросшие непроходимой травой места.

В это первое наше пребывание в Каменице у отца был продолжительный отпуск, который он использовал для наших прогулок и туристских экскурсий по окрестностям, по горам, куда почти всегда брал меня с собой. Мы побывали с ним на многих развалинах замков, обошли все ущелья, ни одной горы, ни одного озера не оставили без внимания, двигаясь по так называемой «Гребневой дороге» («Kammweg»), особенно рекомендуемой туристам. За спиной у нас были рюкзаки с бельем и едой, в руках горные палки с острием, пелерины, кепки. У отца имелась подробная специальная туристская карта, компас, бинокль, шагомер. Мы из принципа никогда ни у кого не спрашивали дорогу, и я выучился ориентироваться на местности по карте, узнавать направление и страны света по часам и солнцу, по признакам растительности в лесу, по звездам ночью. Впро-

чем, все это было почти и излишним, ведь на каждом шагу дорога была помечена туристскими условными знаками и указателями с обозначением расстояний, и все это содержалось в образцовом порядке. Самыми чудными были прогулки ночью, по вершинам гор, при свете луны, переходы через перевалы. Тогда мы шли молча, часами старались не нарушать тишину, любовались красотой освещенных призрачным светом, расстилавшихся глубоко под нами долин, с их игрушечными домиками в деревнях и курортах.

Иногда, натыкаясь на цветок альпийских лугов, на гусеницу, бабочку, мотылька или жучка, на птичку-красношейку, перышко сойки, или спугнув зайца, увидев совсем близко серну, повстречав рыжую или черную белку, найдя особую породу камней, отец в ответ на мои вопросы рассказывал мне все, что только знал, пополняя мои скудные знания более глубокими сведениями из естественных наук, которые сохранились у меня с поры его учительствования, и которые он расширял, читая выписываемые им научно-популярные журналы.

Влюблен в Лилавати

Но после этого райского блаженства предстояла суровая действительность. Мне надо было поступить в среднюю школу, сдать вступительные экзамены и жить в Праге одному, в чужой семье. Не стану же я в Каменице учиться в немецкой гимназии! Несмотря на настойчивые советы учителя, на его указания, что у меня полностью отсутствует склонность к математике, так как я ухитрился путаться в таблице умножения, что нет дарования к рисованию, а значит и к черчению, но зато имеются способности к чешскому языку, к свободному изложению, к стихотворной форме, и что не следует посылать меня в реальное училище, где я несомненно проважусь, а в классическую гимназию, окончив которую я смогу стать не то писателем, не то адвокатом (я лучше всех в классе декламировал) – отец не послушался этих советов. Он хотел, чтобы я стал инженером – электроинженером, «Техника – это будущее!» – было его девизом.

Отец жалел, что ему самому не пришлось отдаться изучению природы и техническому творчеству, созиданию. Вот он и хотел увидеть меня работающим на этом поприще, но так и не дождался этого. Кроме того, он считал, – а тогда в самом деле в начавшей быстро развиваться чешской промышленности был большой недостаток инженерно-технических сил, – что как инженер я легко смогу найти хорошую работу,

стать «независимым», то есть не буду принужден есть хлеб «блестящей нужды» государственного чиновника. Но эти его расчеты были опрокинуты жизнью: я не пошел по намеченному отцом пути, и условия рынка труда стали совсем не те – так же как и мой отец, рассуждали в то время тысячи других родителей, и через пять-шесть лет появился в Чехии излишек безработных инженеров всех специальностей. Но как бы там ни было, меня определили в реальное училище, где мне предстояло проучиться семь лет, переходя из «примы» в «септиму», затем сдать экзамен зрелости, чтобы получить право поступить без экзамена в высшую политическую школу, а также служить вольноопределяющимся, то есть один год вместо трех, на военной службе.

В пустом, кажущемся гигантским, подавляющем своей величиной здании реальной гимназии «на Сметанке», вмещающем около 500 учеников, все классы были параллельные, «А» и «В», а первые классы даже «А бис»; здесь разместили по несколько мальчиков в пустых классах, на приличном расстоянии друг от друга, чтобы они не могли списывать, и в присутствии «суплекта» (стажера) дали нам письменную работу. Собственно, были четыре темы, распределенные в шахматном порядке – еще одно средство против списывания. Суплект называл нас на «вы», относился до оторопи холодно, строго. Работу по чешскому я написал хорошо, возможно, даже отлично. По арифметике же, хотя «ход» был правильный, результат оказался неверным, я допустил

неизбежные числовые ошибки в каком-то действии. К моему великому ужасу и огорчению, меня не оказалось в списках сдавших, принятых, который быстро и невнятно прочитал строгий «господин профессор». Значит, я провалился, что скажут дома, что будет со мной, что я буду вообще делать? Я еле сдерживался, чтобы не разреветься. Но вот «он» берет второй список, очень короткий, и заявляет, что такие-то останутся еще для дополнительного устного экзамена по чешскому языку, а такие-то по арифметике. И среди последних я слышу свою фамилию.

Как я обрадовался! Значит, еще не все потеряно. Я знал, что я спасен. Меня позвали к доске и дали задачку – помню по сей день, с какими-то бочками вина по такой-то цене, а другими – по другой. Вино смешивают, спрашивается, по какой цене будет литр смеси. Я, не стесняясь, по привычке, тут же выпалил, как надо задачку решать, написал на доске такое-то деление, а перед тем, как начать проводить его, дерзко заявил, что тут-то, в цифрах, я могу наврать. Экзаменующему не особенно-то понравилась моя выходка, я до сих пор помню, как он пристально, из-под очков, всматривался в меня, покачивая головой, но все же помог мне перебраться через эти камни цифровых невзгод и милостиво пропустил меня в «реалку», посоветовав «обязательно поупражняться в вычислениях»

Родители устроили меня у каких-то дальних бедных родственников матери, в семье коммивояжера Корнфельда, на

пятом этаже старого пасмурного дома. Думаю, они руководствовались тем, что отсюда было рукой подать до сиротского приюта, к бабушке, и тем, что в этой семье был сын Феликс, старше меня на четыре года, примерный во всех отношениях парень, и, наконец, тем, что для бедной семьи плата за содержание нахлебника представляла значительное подспорье.

Семья Корнфельдов была своеобразна. Все они были оригиналы-чудаки. Отец семейства, высокий, худощавый, преждевременно поседевший, с длинной бородой, был типом аскета, человеком совершенно другого мира, чем тот, в котором проходила вся жизнь вокруг. Он был глубоко религиозен, еврей-ортодокс, один из тех, относительно немногих, которые остались в Праге от старого гетто. По утрам он, когда все еще спали, вставал и долго молился, бормотал, раскачиваясь, на странном непонятном языке, тягучие молитвы, обматывал, одетый в белый балахон с черной каймой и длинными кистями – в таллес – ремни «тефилин» вокруг руки и лба – и, что всего страннее, – все это скрывал, скрыл и от моих родителей, когда договаривался с ними о моем поселении в его семье. Никакая профессия не подходила столь мало к этому человеку, как та, которой ему, по какой-то злой иронии судьбы, приходилось заниматься. Как коммивояжер шляпной фирмы, этот молчаливый религиозный фанатик должен был красноречиво болтать, убеждать, заманивать покупателей – провинциальных торговцев, что ему, должно быть, удавалось туго.

Пани Корнфельдова была маленького роста преждевременно состарившаяся женщина, с виду старушка, вся в морщинах, но ласковая, всегда улыбающаяся, хлопотливая, боязливая, добрая. Кроме сына Феликса, о котором речь будет впереди, у них была дочь постарше, Клара, некрасивая, сентиментальная старая дева, работавшая где-то конторщицей, и непрерывно читавшая слезливые немецкие романы. Феликс учился в гуманитарной восьмиклассной гимназии. Он был первым учеником в классе, до болезненной щепетильности аккуратен и прилежен. Ему поручили наблюдать за мной, помогать мне. За это он взялся не без чувства превосходства.

Меня поселили в крохотную комнатку Феликса. Прошло немало времени, пока мы с ним по-настоящему подружались, его наставнический тон не мог, конечно, способствовать дружбе. Первое время с моей стороны была даже затаенная вражда к нему. Ведь он не без надменности запретил мне трогать стоявшие на этажерке его книги: «Арношт, они не для таких маленьких, как ты!» А ведь эти книги были всего-навсего его школьные учебники! Этот запрет вызвал прямо обратное действие. Когда Феликса не было дома, я тихонько брал с этажерки какую-нибудь его книгу, заглядывал в нее. Но оказалось, что все эти учебники латыни, географии, истории были так скучны!

Исключение представляли собой только две книги: толстый полный курс алгебры Тафльта-Солдата (с четвертого

по восьмой класс) и столь же толстый сборник задач к нему. Меня привлекали эти непонятные закорючки. Возможно, я принимал их за своеобразный шифр. Я начал жадно читать учебник, написанный деревянным языком старой школы, однако, по-видимому, учебник был, тем не менее, вовсе не плох, ведь мне почему-то все показалось простым, понятным, и я не понимал только одного, почему тому же Феликсу алгебра кажется трудной. После прочтения первой главы учебника, я принялся за задачник. Стал решать задачи, все подряд, не пропуская ни одной, решал не только с любопытством, но и со спортивным азартом, – сойдется ли с решением, помещенным в конце задачника – так рьяно я до этого решал лишь шарады и ребусы в детском журнале «Malý čtenář» («Маленький читатель»), регулярно выписываемом для меня отцом.

Эти свои занятия алгеброй, ставшие регулярными, я держал в строжайшей тайне. Сама эта тайна доставляла мне наслаждение, она была своего рода игрой. Но для занятий требовалось много времени – оно шло за счет подготовки к урокам. И много нужно было бумаги – я исписывал все школьные тетради. Думая о задачах, я стал рассеянным, нервным, плохо ел, привередничал, тем более, что еда у Корнфельдов была намного непривлекательнее той, к которой я привык дома. В классе я стал невнимательным, получал плохие отметки. Получал и замечания по поведению за то, что под партой решал свои задачки, а за мои подсказывания на математике

меня наказывали.

Приближались зимние рождественские каникулы, время ожидания получения годового аттестата в первом классе и поездки домой, к родителям. Однако, незадолго до рождества случилась катастрофа. Вся моя тайна вышла наружу. Феликсу математика давалась трудно. И вот в один зимний вечер, он взволнованно бегает взад и вперед по нашей комнате – не знает, как составить и решить заданную на дом контрольную задачку. Как я и сейчас помню, она сводилась к системе простых квадратных уравнений, с двумя неизвестными, и гласила примерно так: «Даны периметр и площадь прямоугольного треугольника. Требуется найти его стороны». Я, который за это время, за три с лишним месяца, успел уже добраться до логарифмов, наблюдал взволнованного Феликса сначала не без злорадства. Все же я сделал робкую попытку помочь ему, начал расспрашивать о задаче. Он резко грубо огрызнулся: «Все равно ничего тебе не понять, не такому мальчишке соваться в такие дела!» Меня, понятно, взорвало, и я упорно твердил про себя: «Ну и мучайся, тогда, дурак, ни за что не помогу!»

Но все же, наконец, я не выдержал. Я сел на кровати и заявил спокойно и неожиданно для Феликса, полагавшего, что я уже сплю: «Я умею решать такие задачки». Прежде чем возмущенный Феликс успел вставить слово, я соскочил с постели как был в одной ночной рубашке, бросился к столу, заглянул в его тетрадь, схватил карандаш, написал нужную

пару уравнений, и тут же и те несколько строк, требуемых для их решения, и не проронив ни слова вернулся обратно в свою постель. Вся эта сценка поздним вечером была чем-то нелепа, театральна. Ошеломленный Феликс, не понимающий всего этого «чуда», сначала было попытался, когда убедился, что ответ сходится, пристать ко мне с расспросами. Но я отвернулся к стенке, сделав вид, что засыпаю, а потом в самом деле быстро заснул тяжелым сном. А Феликс, как выяснилось позже, разревелся от обиды, побежал к своему отцу жаловаться.

Утром, когда я проснулся, что тут творилось! Разразилась настоящая буря. Отец Феликса допрашивал меня – это было просто следствие. Но я и не стал отпираться, рассказал все. И то, что брал без спроса книги, и то, что решал задачки, и то, что ложью выманивал у бабушки деньги на тетради, и что в «реалке» плохо учусь. Тогда меня всей собравшейся семьей то бранили, угрожая, что меня выгонят из школы за плохие отметки, то переглядывались, удивляясь, как это я без руководителя в каких-то четверть года справился с тем, чему в школе учат чуть ли не три-четыре года. В результате, Корнфельд пошел в мою «реалку», справился о моих «успехах», узнал, что они до того неважны, что мой перевод с первого на второе полугодие стоит под вопросом. После этого он зашел к бабушке, рассказал ей все, и они оповестили письмом отца.

Отец немедленно приехал в Прагу. Работа в националь-

но чуждой, даже враждебной обстановке, где ему приходилось быть постоянно начеку, опасаясь разных подвохов, сделала его еще более раздражительным. Тем не менее, приехав, он поговорил со мной вполне спокойно, обсудил, как со взрослым, создавшееся положение. Против моего опасения, он на сей раз не вспылал, не пришел в ярость, а заключил со мной своеобразный «договор»: «Ты, Арношт, должен дать слово, что будешь делать школьные уроки, готовиться, учиться, пусть только так, чтобы без затруднений переходить из семестра в семестр, из класса в класс. Большого я от тебя не требую, не обязательно, чтобы ты приносил одни отличные отметки. Зато ты можешь заниматься математикой, чтением, всем разумным, что тебя интересует, и никто не станет тебе в этом препятствовать». И отец пошел в школу, переговорил с преподавателями, а, может быть, и с директором, и мне дали возможность исправиться по тем предметам, по которым мне угрожал провал. А сам купил мне учебники и задачники – алгебры, планиметрии, стереометрии, тригонометрии, начертательной геометрии для высших классов, и повел меня в виноградский «Народный дом», где записал в публичную библиотеку с правом брать книги на дом. Вот каким человеком, каким подлинным педагогом был мой дорогой отец, понявший мою влюбленность в древнеиндийскую богиню математики, прекрасную Лилавата, она же богиня времени, которая, прикоснувшись раз в столетие в танце своей воздушной вуалью к гранитной скале, по пес-

чинке сносит ее.

Вскоре наступило рождество, двухнедельные каникулы, и я поехал домой в Каменицу, с аттестатом, хотя и не ахти каким блестящим, но все же переведенный на второй семестр. Конечно, по математике у меня была – чуть ли не единственная – высшая отметка. Это было мое первое самостоятельное путешествие поездом, причем шестичасовое с пересадкой поздним вечером. Каким я чувствовал себя важным, когда другие пассажиры со мной заговаривали, и когда на пересадочной станции мне пришлось изъясняться по-немецки.

Но две недели пролетели чересчур быстро. После моего возвращения в Прагу, весь школьный год прошел однообразно, как прошли и все последующие первые четыре года моей учебы в средней школе. Я сознательно прилагал лишь минимум усилий и стараний, был не очень внимателен в школе, а дома лишь в редких случаях готовил уроки как следует. Все только так, чтобы как-нибудь вытянуть и не провалиться. Некоторые предметы вызывали во мне прямо-таки отвращение, причиной чему был всегда преподаватель. Самыми ненавистными были для меня вплоть до «кварти», четвертого класса, где преподаватель сменился, география и история. Оба эти предмета преподавал аббат Гнидек, член ордена иезуитов. Тощий, костлявый, с длинным иссохшим лицом, в очках, одетый иногда в штатский черный костюм, а иногда в сутану, он был настоящим страшилищем, его боялись все.

Я вскоре попал в немилость к Гнидеку. Виною тому были

элементы математической географии, входившие в программу, – почти для всех учеников самая трудная часть географии, для меня же единственная, не показавшаяся мне скучной. И вот, я посмел полюбопытствовать, когда пришлось наизусть заучивать таблицу изменяющихся длин градусов широты, какова закономерность этой таблицы, и тем самым попал сразу в «дерзкие» ученики. С тех пор придирамк Гнидека не было конца.

Преподавателем французского был профессор Повр, по происхождению француз. Это был низкого роста шустрый человек, беспрерывно бегавший по классу, согнувши полудугой ручки и спрятав кисти в рукава, и еще быстрее говоривший с нами, причем только по-французски. Повр был фанатиком чешско-французского сближения. Он полагал, что Франция в будущем, когда Чехия станет самостоятельной, сможет помочь устоять против поглощения ее немцами, но в этом, как известно, он, увы, ошибся. И не он один. И так же, как ошиблись те, кто полагали, что благодаря дружбе с русскими Чехословакия сохранит свой суверенитет. Неужто, таков удел всех малых стран?

Но Повр был таким же фанатиком своей системы преподавания. Она состояла с одной стороны в том, что на уроках, с самого начала, говорили только по-французски, и это было замечательно, а с другой стороны, в том, что надо было зазубривать слово в слово все грамматические правила, все те исключения, которых во французском языке так много, и

это было плохо.

С зубрежкой я никак не мог примириться. Однако, несмотря на то, что я ею не занимался, я все же стал понимать французские книжки, которые охотно брал из школьной библиотеки, что, тем не менее, не улучшало мои отметки. Повр, проведавший, что я читаю французские книжки, причем не заглядывая в словарь и не делая – как по его указаниям требовалось делать – никаких выписок непонятных выражений и оборотов, относился ко мне как к преступнику, лентяю и озорнику. Вдобавок к плохой отметке по языку я получал от него наказания и замечания по поведению. Должен подчеркнуть, что все же позднее я понял, насколько я обязан бедному Повру, которого мы так незаслуженно обижали, как будто неплохим знанием французского.

Больше света приносили уроки родного чешского языка. Преподавал его профессор Лориш, добродушный, веселый, почти совершенно лысый толстячок. Зубрежка, правда, и у него присутствовала, – требовалось знать на память всякие там обороты склонений и спряжений, – но центр тяжести был все же в понимании прочитанной чешской классической художественной литературы и умении пересказать, разобрать, написать сочинение, продекламировать стихи, не только выучив их наизусть механически, но и с «чувством».

Однако наибольший интерес и удовлетворение вызывали у меня уроки нашего классного руководителя профессора Аплта. Это был статный мужчина с лицом странного жел-

товато-коричневого цвета, с длинными, зачесанными назад вороно-черными волосами и длинной, такого же цвета ассирийской бородой, длинными желтыми ногтями. Он был холостяком, носил золотое кольцо непривычной формы, с большим резным аметистом, про которое, как про магическое, у нас, мальчиков, ходили различные легенды. Говорил и двигался он медленно, с каким-то особым достоинством, словно жрец, и, как нам казалось, часто говорил с таинственным – как я бы назвал это теперь – подтекстом. Да, нас всех пугало и вместе с тем привлекало что-то загадочное в этом человеке. Загадочными были его большие блестящие черные глаза с желтыми белками, и даже почему-то его неизменный черный костюм непривычного покроя. Таинственными были слухи, которые шепотом передавали ученики старших классов во время переменок в длинных, гулких, вымощенных каменными плитами коридорах «реалки».

Аплът был атеистом, вольнодумцем, будто бы даже франкмасоном. О нем распространяли всяческую клевету, то – будто он сифилитик, то гомосексуалист, он – так они утверждали – был членом правления атеистического общества «Вольная мысль», писал для его журнала, подвергался преследованиям со стороны начальства. Но почему-то начальство его побаивалось, не очень-то трогало. Он стоял особняком от своих коллег, действовал по-своему: строго не придерживался программы преподавания, не ставил – как другие – непрерывно отметки, не заставлял класс, когда его урок

был первым с утра, читать молитву. Он преподавал математику, физику, химию, биологию и все естественные науки. Он был человеком, знающим и любящим свой предмет, чутким учителем, по-человечески понимавшим психологию подростков. Я обязан профессору Аплту очень многим, с искренней благодарностью вспоминаю о нем. А ведь на уроках математики я доставлял ему много неприятных минут.

Вот он выводит на доске доказательства какой-либо геометрической теоремы или показывает решение алгебраической задачи. А я без спросу вскакиваю со своего места и перебиваю его: «Господин профессор, это можно сделать проще!», и уже бегу к доске. А то по физике задаю чересчур каверзные вопросы. Но Аплт не сердится, или, по крайней мере, не показывает виду, что сердится, что я подрываю его авторитет, и только мягко замечает, что не годится без спроса перебивать его. Более того, он всегда помогает мне советом, рекомендует, что почитать. Помнится, благодаря ему, я заинтересовался проективной геометрией, начал приобретать постепенно всю серию немецких сборников Гешён. В классе, где чуть ли не у каждого школьника имелось свое прозвище, меня прозвали «Архимед».

Но тем не менее в то время школа была для меня лишь неизбежным злом, и только. Настоящая моя жизнь была в книгах. В библиотеке «Народного дома» я стал одним из самых ревностных абонентов. Читал я главным образом беллетристику, как чешских авторов, так и переводы иностран-

ных романов выдающихся писателей, но попадались и книги по философии, научно-популярные сочинения. Я читал без руководства, без разбора, многое, надо полагать, вовсе не понимал, или понимал превратно. Читал нечеловечески быстро, прямо-таки глотал книги. Прочел я и «Антропологию» Тейлора, которая произвела на меня сильное впечатление. Это был один из первых и вероятно наиболее сильных систематических стимулов материалистического миропонимания, которые дошли до меня. К тому времени – мне было около тринадцати лет – относится и моя первая любовь.

Летом, как всегда, я приехал домой на каникулы, в Чешскую Каменицу. Однажды моя пятилетняя сестричка засиделась долго в гостях у своей подружки. Меня послали за ней. Подойдя к садовой калитке, я позвонил, и в дверях виллы показалась, освещенная бликами витражей, девочка. Длинные, золотистые косы. Одета в национальный костюм тирольской крестьянки. Заикаясь от смущения, я пролепетал: «Я брат Мартички, пришел за ней, уже поздно, извините...» Это была романтическая, платоническая страсть, о такой я зачитывался в романах. Я стал пропадать из дому, подкарауливал издали Густль. Мартичку я ходил провожать и, конечно, заходил за ней. Стал плохо есть, худел. Моим излюбленным местом был теперь высокий холм, поросший густой травой, в которой водилась лесная клубника «травница». Это был холм Заттельсберг, высившийся над городком. С него видна была и вилла, где жила «моя Густль». Там я со-

чинял чешские стихи, и немецкие в прозе, своего рода подражания Бодлеру. Я записал их в альбом Густль. Мое увлечение длилось два-три года. Оно побудило меня изменить свое отношение к школьным занятиям. Я рассуждал так: для того, чтобы заслужить «ее», надо мне стать кем-то стоящим, даже выдающимся, надо стать лучшим, первым учеником. И, начиная с пятого класса, в моих школьных занятиях наступила резкая перемена, я стал внимателен в школе, что оказалось достаточным, чтобы сразу перескочить на место второго ученика, всего за одно полугодие.

На совершившийся во мне переворот, причины которого были, понятно, окружающим неизвестны, реакция была неожиданной. Все ругали. Учителя, да и мама, говорили: «Так вот, оказывается, ты мог отлично учиться, а просто не желал!» Но, как и полагается для всякой романтической любви, моя любовь была несчастной. Когда, наконец, в одни из очередных каникул, – мне было лет пятнадцать, – я настолько осмелел, что признался Густль в своей любви, то встретил смех этой тринадцатилетней девочки. Более того, Густль рассказала все своей матери, чопорной фабрикантше. Мне сразу запретили появляться там. Для меня это был двойной урок: социальный и национальный. Сказалась разница общественного положения родителей – капиталиста и чиновника, равно как и национализм, антисемитизм – чистокровные арийцы-немцы и «полукровка», не то чех, не то еврей. Судетские немцы уже тогда славились своим шовиниз-

мом. Я тяжело переживал этот удар.

Романтизм двух национализмов

А со следующей осени Густль отвезли во французский пансионат, в Лозанну. Только спустя год я получил от нее оттуда открытку с видом Женевского озера. Но было уже поздно. Боль была забыта, мое увлечение Густль сменилось другим, хотя и не любовным, но не менее страстным, и, во всяком случае, более захватившим всего меня. Я стал еврейским националистом. Этому содействовало все мое развитие. В националистическом романтизме, правда, чешском, воспитал меня отец, воспитывала школа, вся обстановка в Праге, в Чехии. Да и вся Австро-Венгрия с ее одиннадцатью национальностями кипела их непрекращающейся борьбой между собой. Угнетение прежде столь славного, высококультурного чешского народа, его героическая борьба за сохранение самобытности, за свое возрождение, против насильственной австрийской германизации – все это было центральной темой художественной литературы, преподавания истории даже в ее столь засушенном виде, все это наполняло рассказы отца о его деятельности странствующего учителя. Пьяные «бурши» – студенты имеющихся в Праге параллельно с чешскими немецких университета и высшей политической школы, у которых было свое казино на одной из главных улиц города, «На Пржикопе» (ныне там помещается «Славянский Дом»), шествовали в своих цветных фуражках,

кичась шрамами от дуэлей, орали свои воинственные песни, задевали прохожих, постоянно всячески провоцировали столкновения с чешской молодежью, с чехами, составлявшими девять десятых населения столицы. Разумеется, что австрийская полиция закрывала глаза на эти бесчинства.

Ядовитые стихи Гавличека, полные ненависти к австро-венгерской монархии, к Габсбургам, к католической церкви, литература, напечатанная лишь после интерполяции в парламенте (однако все же при монархии было возможно печатать то, что подрывало самые ее устои, а в СССР, в так называемой социалистической, самой «демократической» стране, нельзя было опубликовать ни одной строчки, критикующей не строй, а лишь политику ее правителей) – вот что любил на память декламировать мой отец, что давал мне читать.

Романтизмом я был пропитан насквозь. Этому содействовали и классики, в том числе и немецкие издания Гете, Шиллера, Гейне, Лессинга, а также и Шекспира, которые принадлежали маме. Мой отец посещал какой-то патриотический клуб. У него, чуть ли не рядом с его австрийским официальным мундиром почтового ведомства, висел в шкафу длинный сюртук со шнурами вместо пуговиц – старое чешское патриотическое одеяние.

Переход от чешского национализма к еврейскому свершился во мне с необычной легкостью. Разве евреи – а я ведь был не только чехом, но и евреем – не были национально-

стью, еще более угнетаемой, гонимой и беззащитной, чем чехи? Ведь были чехи-антисемиты, но не было евреев-античехов! Но, конечно, кроме подобных, чересчур отвлеченных, идущих от разума, соображений, действовали на меня другие факторы, эмоционального порядка.

Прежде всего, романтизм подкреплялся всей той атмосферой национальной освободительной борьбы, которая охватила Европу в начальной стадии наступления империализма на рубеже XIX–XX веков. В англо-бурскую войну симпатии чехов были, естественно, всецело на стороне буров, и мы, мальчишки, в своих играх нещадно били «англичан» и страдали от каждого газетного известия о поражении буров. В русско-японской войне, понятно, по давнишней славянофильской традиции, симпатии чехов были на стороне русских, каждое поражение которых переживалось больно, как собственное. То, что буры сами станут жесточайшими угнетателями африканцев, не приходило никому в голову. И то, что удары японцев объективно ударяли по русскому самодержавию, не доходило, конечно, до нашего сознания.

Но было и другое. Была волна дикого, звериного антисемитизма, прокатившаяся, начиная с 1894 года, по всей Европе. Сначала во Франции, в этой образцово просвещенной стране, в стране «свободы, равенства и братства», разыгралась «дрейфусиада». Офицер генерального штаба еврей Дрейфус был ложно обвинен в государственной измене. Зна-

менитого Золя, выступившего с открытым письмом «Я обвиняю» к президенту республики в защиту невиновного, суд осудил, и он вынужден был бежать в Англию. И лишь в 1906 году Дрейфус был полностью реабилитирован.

В самой Чехии в 1899–1900 годах разразилась «гильзнериада». Еврея-бедняка Гильзнера ложно обвинили в убийстве христианского мальчика, причем, якобы, для получения крови в мацу. Против этого антисемитского процесса, затеянного австрийской реакционной юстицией, поднялся протест всей передовой чешской интеллигенции с Масариком во главе. А в 1913 году, в России, такое же клеветническое обвинение в ритуальном убийстве создало «дело Бейлиса» – судебный процесс, организованный царским правительством, сопровождавшийся погромами, против которого выступили Горький, Короленко и другие.

Хотя в чешском народе никогда не бытовал антисемитизм, в то время вспышка его стихийно поднялась. Это проявилось не только в погромах еврейских лавок и магазинов, в Праге и в ряде других городов, – дело рук люмпенов, подонков большого города, – под покровительством полиции – но и в антисемитских надписях на заборах, проявилось в поведении учеников в школах, оскорблениях, наносимых на улице людям семитской наружности. В связи с этой вспышкой антисемитизма, отец любил цитировать слова поэта Яна Коллара: «Тот, кто в оковы сажает рабов – сам раб» – изречение, несправедливо жестоко сказавшееся на судьбе в сущно-

сти доброжелательного чешского народа, и висящее угрозой над израильтянами, не желающими понять, что единственная их надежда – в братании с арабами.

Мой отец ратовал за идею «Чешскому ребенку место в чешской школе». Этот лозунг он распространял и на детей евреев, горячо спорил с родственниками матери, в особенности с дядей Лангером, виноторговцем, лавочка которого пострадала во время погрома. Помню, однажды я присутствовал при таком споре, и со свойственной мне неуместностью совать свой большой нос повсюду, вмешался в разговор взрослых, встал на сторону дяди. «А я думаю, что еврейскому ребенку место в еврейской школе, а не в чешской или немецкой», заявил я с апломбом, так, как мне подсказывала моя логика, не принимая во внимание, что никаких еврейских школ в Чехии не существовало вовсе.

Это было мое первое «политическое» выступление и начало все более усиливавшегося расхождения с отцом, начало моего еврейско-националистического увлечения. Да, я, лет пятнадцати, знающий в объеме средней школы всю алгебру и геометрию, начавший изучать высшую математику по французскому учебнику Серрс, решавший конкурсные задачи из приложений для средней школы «Журнала чешских математиков и физиков» и регулярно получавший призы, опять-таки математические книги, я, влюбленный, в Густль Ренгер, – стал безудержно увлекаться всем еврейским.

Моему еврейскому увлечению значительно содействовала

дружба с двоюродным братом Йиржиком. Он был на два года моложе меня, но наша дружба была самой крепкой, как равного с равным. С ним вместе мы посещали сиротский приют, он, как и я, очень любил бабушку, вместе с ним мы играли. Он обладал буйной фантазией и влечением к мистике, выдумывал самые причудливые сказки, истории, похождения с привидениями. С ним вместе мы перед девочками «колдовали», то есть проделывали всякие фокусы, которым мы научились из разных брошюрок, гадали, составляли гороскопы, отгадывали мысли и т. д. В то время мы зачитывались всяким вздором о белой и черной магии, но также о гипнотизме и самовнушении.

Одно время мы пробовали поставить опыты по телепатии. В большом саду сиротского приюта на расстоянии каких-нибудь пятидесяти метров мы с Йиржиком садились спиной друг к другу, к садовым столикам, предварительно условившись, что один станет писать простые знаки: либо цифры от 0 до 9, либо простейшие геометрические фигуры, вроде креста, квадрата, треугольника, круга, либо цвета цветными карандашами, либо даже какую-нибудь букву, и что он, после каждой отдельной записи, подаст знак ударом карандаша о столик. А другой должен отгадать, записывая в том же порядке знаки. Эксперименты вначале удавались довольно плохо, но чем чаще мы стали ими заниматься, тем становились точнее, причем безразлично, кто из нас обоих отгадывал. Они кончались всякий раз сильным утомлением,

и даже головной болью отгадывающего. Устраивались они нами без свидетелей, в полной послеобеденной тишине этого тенистого сада. Йиржик объяснял их, конечно, магической силой мысли. Для меня же они оставались – и остаются до сих пор – необъясненными. Во всяком случае, я как-то не так давно публично выступил против тех, кто зашатались хотел запретить опыты по телепатии, по обнаружению возможного, пока неизвестного излучения, вызываемого, быть может, биотоками мозга, излучения, которое, без всякой мистики, вполне материалистически, могло бы передавать мысли на расстояние. Единственным веским доводом против возможности существования человеческого мозга, обладающего столь сильной способностью передавать, получать и преобразовывать подобное излучение (если оно вообще существует), мне кажется, вытекает из теории Дарвина: люди, обладающие подобным свойством, были бы несравненно лучше, чем прочие, приспособлены к жизни, а поэтому, с течением времени, это свойство должно бы перестать быть редчайшим – но этого ведь нет в действительности.

Вскоре после моей упомянутой сцены с отцом, мы с Йиржиком стали изучать древнееврейский язык – иврит. У Йиржика в этом отношении были большие преимущества, так как он уже знал кое-что из уроков религии, умел хорошо читать и знал много слов, но читал он с ашкеназским произношением, на котором происходили религиозные службы в Чехии и во всей восточной, средней и западной Европе. Мы

сели за учебники и продвигались быстро вперед. Учились мы по учебнику для студентов теологического католического факультета университета, с сефардийским, «академическим», очень благозвучным произношением, теперь официально принятым в Израиле. Оно нам очень нравилось, так же как и большая стройность грамматики этого древнего языка. Манила и таинственность – мы станем меж собой разговаривать, а понимать нас никто не сможет. А я просто считал своим долгом знать язык своего наиугнетеннейшего народа.

То, что мы изучали древнееврейский, мы старались сохранить в тайне. Но, конечно, об этом скоро узнали домашние. Наша семья к тому времени, как я перешел в пятый класс, вернулась из Чешской Каменицы в Прагу, куда отца перевели с новым повышением по службе. Пришлось выслушивать немало насмешек и брани по этому поводу: «К чему тебе это, ты что, раввином хочешь заделаться, или ксендзом, или уехать в Палестину?», говорил отец. Я увертывался, отшучивался, но все это лишь усиливало во мне дух противоречия. Споры между мной и отцом становились все чаще и все острее. Самым спорным вопросом был вопрос чисто теоретический: являются ли евреи нацией или нет? Ассимилянты и их сторонники утверждали, что раз у евреев нет своего единого языка и территории, государства, то они не нация.

Среди самих националистов имелось множество оттенков, начиная с религиозных сионистов «мизрахим», и кончая социалистическими «поалейцион». Вообще же полити-

ческая сторона вопроса оставалась для меня скрытой. «Еврейское государство» («der Judenstaat»), это основное сочинение основателя сионизма, младогегельянца Теодора Герцля, произвело на меня меньшее впечатление, чем его же небольшой рассказ «Менора». А еще сильнее действовали стихи Морриса Розенфельда, этого певца американского еврейского гетто, стихи не только националистические, но и социальные, если не сказать социалистические. Их я прочитал впервые не в оригинале на идиш, а в чешском переводе Ярослава Врхлицкого.

В древнееврейском вскоре – через год-два – у меня оказались недурные успехи. Этот язык давался мне удивительно легко, и я вскоре стал первым на курсах усовершенствования при студенческой сионистской организации «Бар-Кохба», куда записался. Понемногу я начал читать тексты без знаков для гласных, которые в иврите, как и в арабском, как правило, опускаются, газеты и журналы, выходившие на иврите в России, и, наконец, сам преподавать иврит начинающим. Имелись друзья, с которыми я довольно бегло разговаривал по-древнееврейски. Все это было в то время, когда я кончал среднюю школу, в мои семнадцать лет.

Студенческая организация «Бар-Кохба», названная так по имени вождя иудейского восстания против римского владычества, устраивала различные культурные мероприятия, из которых мне особенно помнятся концерты еврейской музыки, певца Голанина, чтение стихов, доклады писателя-фи-

лософа Мартина Бубера. Душой всего был Гуго Бергман, библиотекарь Пражского немецкого университета, впоследствии израильский академик, философ-идеалист. Книгу Бубера «Три речи о еврействе» я перевел тогда с немецкого на чешский, она была издана и перевод получил высокую оценку чешского прогрессивного критика Франтишека Ксавера Шальды, также как мой чешский перевод избранных стихотворений древнееврейских поэтов средневековья. В журнале Шальды я позже опубликовал и небольшое количество своих собственных лирических стихов.

К этому же времени относятся, хотя и по существу не укладываются сюда как-то, попытки моей матери сделать из меня, этого чудака, «светского человека». После ряда сцен и скандалов, мама принудила меня надеть сорочку с накрахмаленной манишкой и такими же манжетами и стоячим твердым воротничком, режущим горло. Мне сшили черный смокинг, и повели на уроки танцев. Я пошел, чувствуя себя отвратительно, хуже, чем скотинка, которую ведут на бойню. Самое страшное в моем воображении было то, что танцевать придется с барышнями, которые представлялись мне совершенно непохожими на тех простеньких девочек-сироток, которых я знал. О чем это я стану с ними говорить? Мне представлялось, что все они невероятно тупые, ограниченные и вздорные существа, которые только и знают, что вертеться перед зеркалом, наряжаться, флиртовать, а о другом, кроме как о погоде, разговаривать не умеют. Я решил, что пригла-

шу танцевать самую некрасивую девушку, так как если вероятность встретить красивую равна, скажем, $1/10$, и вероятность того, что она будет умной также $1/10$, то вероятность того, что она будет как красивой, так и умной окажется всего $1/100$. Вот как я «практически» применил в своих расчетах теорию вероятности, с которой по книжке из сборничков библиотеки Гешёна я тогда познакомился.

Против всякого ожидания, первые начала танцевального искусства оказались уж чересчур простыми. Во всяком случае, менее трудными, чем уроки гимнастики, которые – по сокольской системе – преподавали нам в нашей «реалке», с разным там лазаньем по лестницам, прыганьем через козлы, упражнением на брусьях и т. п. В большом зале «Мещанской беседы», где происходили танцевальные курсы, по одну его сторону стояли «дамы» – девушки в длинных белых платьях, а по другую – мы, «кавалеры». Позади «дам», около стены, сидели их мамы, или тетушки, «гардедамы», на галерее разместились несколько музыкантов. Учитель танцев, молодой человек во фраке, извивавшийся, как будто он каучуковый, заставлял нас постоянно повторять одно и то же: надо было выходить на середину зала по одному – сначала «кавалеру», потом «даме» – и здесь каждый, под звуки музыки повторял несколько простых «па» польки, потом расшаркивался, и снова возвращался на свое место. Трудно было себе представить нечто более дурацкое и комичное.

После перерыва учитель танцев объяснил, что теперь каж-

дый «кавалер» должен – и как именно – пригласить какую-нибудь «даму» танцевать с ним, и что будем танцевать польку. Я, как решил, так и сделал.

Заранее пригляделся к стоявшим напротив девицам, и пригласил ту, которая показалась мне самой большой дурнушкой. Протанцевали мы благополучно, что значит, что я ни разу не наступил ей на ногу, ни даже на ее длинное платье, и что наша пара не получила никакого замечания учителя, шмыгавшего тут же, среди танцующих.

Но самое худшее испытание еще предстояло. После того, как стихла музыка, нельзя было просто отвести свою «даму» на ее место к мамаше, а – согласно инструкции, преподанной нам учителем – прогуляться с ней раз или два по залу, вести «светскую» беседу. Спрашиваю: «Вы любите оперу?», и получаю ответ: «Да». Но и на вопрос: «Кого вы предпочитаете, Сметану или Дворжака?», следует нечто неопределенное, но односложное, не то «да», не то «нет». Так моя «дама» или вообще молчала, или отвечала этими «да» и «нет». Это, и еще больше то, что меня так бессовестно подвела теория вероятности, взбесило меня, я прервал прогулку и со словами: «О, вы, барышня, видно очень набожны! Руководитесь словами евангелия: да, да, нет, нет, да буде слово твое, и что больше есть, то от дьявола» вручил ее с поклоном ее мамаше. А сам – покинул зал, твердо решив никогда больше не танцевать. У Ницше я прочитал, что если смотреть на танцующих, не слыша при этом музыку, то справедливо сочтешь их поме-

шанными, и с этим я согласился. Танцы, как и балет, я, увы, не понимаю. Маму я огорчил, И мой смокинг стал добычей моли.

Я стал на некоторое время женоненавистником. Это была присущая в переходном возрасте многим подросткам отчужденность, стимулируемая, вдобавок, отдельным обучением в школе. Я стал называть девушек презрительно «гусынями». И в то же время в моем воображении «женщина» как таковая была высшим существом, как это описывалось в романах рыцарских времен. И когда один из моих друзей, Норберт Адлер, сын сахарозаводчика, как-то изложил мне свои цинические взгляды на отношение к женщине, я, в ответ, тут же порвал с ним, приняв все это мальчишеское хвастовство всерьез.

В то время я уже начал зарабатывать, давая за плату уроки на дому по математике нескольким плохо успевающим или же готовящимся к «матурите» – выпускным экзаменам – ученикам средней школы, сыновьям зажиточных родителей. Заниматься с лентяями, а главное с тупицами, было неприятно. Но уроки эти неплохо оплачивались. Для меня, больше, чем эта реально-материальная сторона, было важно моральное сознание того, что я стал самостоятельным. Конечно, это в значительной степени была фикция, ведь я жил по-прежнему у родителей, пользовался их кровом и столом, но все же настоял на том, что вносил в домашний бюджет свою скромную лепту. И все это из-за разногласий с отцом по нацио-

нальному вопросу! Раз мы столь резко расходимся во взглядах, то я не желал чувствовать себя зависимым от него.

Тянет в дальние страны

В то время в последних классах средней школы у меня было много друзей. Но я остановлюсь здесь лишь на дружбе с Крупским, так как именно она была прочна и своеобразна. Этот долговязый, чуть заикавшийся ученик, был, так сказать, издателем, шеф-редактором и чуть ли не единственным автором всех статей издававшегося – разумеется, без ведома начальства – рукописного классного журнала, выходявшего в трех классах, причем весьма регулярно, раз в месяц. Название его было оригинально, он назывался «Без названия». Журнал был публицистическо-художественный, с явным уклоном к сатире, к остроумию, которым славился Крупски. По понятным причинам, все авторы выступали в журнале под псевдонимами (а у самого Крупского их было множество), но желающих принимать в нем участие было тем не менее сравнительно немного. Боялись тяжелых последствий в случае провала.

Но за все три года провала не было, не нашелся ни один доносчик. Впрочем, я теперь думаю, что классный руководитель Аплът знал о существовании журнала, но закрывал на это глаза. Возможно, что знал кое-кто другой из профессоров, но не хотел поднимать шума, так как это каким-то образом ударило бы и по самим учителям. Крупски предъявлял большие требования к статьям, далеко не все «печатал», что

ему предлагали. В каждом номере была своего рода «политическая» передовая, поднимавшая события в классе чуть ли не до международного уровня, были заметки, посвященные отдельным «личностям» – преподавателям и ученикам – и отдельно проблемам по предметам. Но был и чисто литературный отдел: стихи, рассказы, и даже «кровавый» роман в продолжениях – пародия на печатавшиеся в ежедневных бульварных газетах романы. Были и переводы классиков. Авторами их были мы двое, Крупски и я, попросту сочинявшие эти поддельные «переводы», стараясь на полном серьезе подражать стилю того или иного западного – Золя, Диккенса, Толстого – или восточного – китайского, арабского, – автора. Вообще же я постепенно стал вроде как бы помощником Крупского, а под конец мы вели наш журнал вдвоем.

Техника занимала немало времени, ведь мы писали его от руки печатными буквами, снабжали иллюстрациями, даже цветными, преимущественно карикатурами, затем переплетали. И все это делалось в строжайшей тайне от домашних. Журнал ходил по рукам, а потом возвращался к Крупскому, который хранил все номера где-то в тайнике. Опасаться было чего. В «передовицах» и других статьях нет-нет да и попадались выпады против Австрии и самого Франца-Иосифа. Когда мы после сдачи выпускных экзаменов устроили скромную вечеринку с участием нескольких любимых профессоров, то храбрый Крупски притащил на нее все номе-

ра журнала – чуть ли не 30 толстых тетрадок – и мы на выбор читали из них под общий хохот. Больше всего смеялись после того, как осушили рюмочку-другую вина господ профессора. Крупски не пошел учиться дальше в высшую школу, а поступил служащим в какую-то частную фирму. В первую мировую войну его убили, Вообще же, когда в 1960 году состоялось традиционное собрание абитуриентов 1910 года, то нас оказалось немного. Многие погибли на фронте в войне 1914–1918 гг., некоторые в фашистских лагерях, а иные просто умерли от болезней и преждевременной старости. Грустное это было собрание, явно показавшее, какая тяжелая доля выпала нашему поколению, и не в первый раз я удивляюсь теперь тому, как же это мне, пережившему три войны, плен и три тюрьмы, удалось выжить.

Заканчивая воспоминания об этом «средне-школьном» периоде, я должен упомянуть еще о некоторых более или менее ярких эпизодах, скрасивших это, в общем спокойное, но довольно однообразное, скучное течение жизни.

Так вот, я мечтал о путешествиях в чужие, особенно в дальние экзотические страны. Старался не пропускать ни одной из публичных лекций путешественника Браза, этого чешского Левингстона, исходившего пешком многие районы экваториальной Африки и Южной Америки. Он сопровождал свои лекции показом проекций, им же раскрашенных фотографий. И мне, наконец, выпало такое счастье. Пять настоящих путешествий – правда, не на Таити, о чем я больше

всего мечтал, но все же! До них, кроме описанных уже прогулок с отцом, я побывал только на народных храмовых праздниках, однако утерявших первоначальный религиозный характер.

В Крушных горах мне довелось увидеть осенний праздник общества стрелков («Schützenverein»), военизированного общества немцев, одетых в зеленые мундиры, которое имело свои организации во всех селениях Судетов. На горной поляне, возле бойко торговавшего ресторанчика, воздвигли шест высотой в рослую сосну, на вершине которого было прикреплено яблоко, и оттуда же свисали длинные черные, белые и красные ленты – пангерманские цвета. Состоялось состязание в стрельбе из средневековых самострелов – стрелой надо было сбить яблоко. Поодаль горел громадный костер и над ним на вертеле жарилась целая туша вола. Праздник так и назывался «Ochsenbraten am Spieß» («Воловье жаркое на вертеле»). А под конец, когда уже спустилась ночь, и все как следует наелись и напились пива и шнапса, началось факельное шествие, вокруг костра дико плясали и орали воинственные, кровожадные, шовинистические песни. Этим они не в первый и не в последний раз опровергли изречение Шиллера: «Где поют, там радостно поселись. У злых людей песен нет». Все это должно было изображать языческие празднества древних тевтонцев. Из этих стрелков и подобных им организаций, которые ма-сариковско-бенешевская Чехословакия либерально терпела,

позднее рекрутировались наиболее активные гейнлейновцы, эсэсовские головорезы.

Но вот теперь я еду в другую страну – в Германию, в столицу Саксонии Дрезден. Взяла меня с собой бабушка Иоганна, отправившаяся туда навестить свою болевшую сестру, как и она сама, вдову, проживавшую там с двумя уже немолодыми дочерьми. Это было летом, и мы поехали туда колесным пароходом, сначала по Влтаве, а затем по Лабе (Эльбе), а обратно вернулись поездом. Для поездки в Германию, а также в Италию – в страны-союзницы – не требовалось никаких паспортов и никаких формальностей вообще. Все это, не в пример порядкам в странах так называемого социалистического содружества, где на 56 году революции, спустя 27 лет после окончания Второй мировой войны, советский гражданин для того, чтобы посетить родственника, проживающего в другой «социалистической» стране, должен сперва получить от него официально заверенное приглашение, обзавестись характеристикой, – если он партийный, от партбюро своей низовой организации, – пройти затем через специальную выездную комиссию райкома партии, а потом еще ждать, пропустит или не пропустит его ОВИР – номинально орган милиции, на деле же Комитета Госбезопасности. И все это длится не менее 3 месяцев, не говоря уже о том, что за эту свою нервотрепку надо уплатить 40 рублей. В таком же положении находятся и советские граждане, временно работающие в Чехословакии, Польше, ГДР и т. д., все они, если хо-

тят навестить своих родственников в СССР, должны пройти через эту унижающую человеческое достоинство жандармскую процедуру. А в Австро-Венгерской монархии получить заграничный паспорт было сущим пустяком для поездки в любую страну мира, стоило 5 крон и длилось не больше суток (полиция выясняла, не числится ли за желающим уехать уголовное дело, или не подлежит ли он призыву).

Но вот, мы ехали в Дрезден. Запомнилось общее впечатление от красот этой поездки, зеленых берегов Эльбы, живописных селений и замков на скалах Чешско-Саксонской Швейцарии. Проезжая Шандау, летнюю резиденцию саксонского короля (тогда в Германии, кроме кайзера Вильгельма Второго, в каждой отдельной провинции сохранились еще короли и князья, со своими, наряженными в старинные мундиры, гвардиями), мы с парохода хорошо видели как на берегу происходил какой-то праздник, с военным оркестром, – мне запомнился дирижер, размахивавший вместо палочки длиннющим шестом, с нанизанными на него колокольчиками. От самого города Дрездена осталось у меня впечатление бело-зеленого цвета, подстать саксонскому знамени: белые здания с зелеными крышами. Конечно, мы побывали в Цвингере, смотрели Сикстинскую мадонну, но мне было тогда лет тринадцать, и я не мог, понятно, ничего этого как следует оценить. Вторично я побывал в Дрездене лишь после того, как он был варварски разрушен американской авиацией.

Запомнился еще такой случай. Как-то Прагу посетил черногорский князь Никита. Он разъезжал по городу в открытом фаэтоне в национальном костюме, в расшитом золотом жилете, встречаемый бурными овациями пражан. Симпатии чехов к югославам, а в особенности к черногорцам, к этому немногочисленному храброму народу, отстаивавшему в своих горах самостоятельность, были давнишними. Мне повезло, я видел проезжавшего по Вацлавской площади князя. И вот однажды я, вернувшись домой из школы, рассказал с массой деталей, будто князь Никита посетил нашу школу, побывал у нас в классе, как раз, когда меня вызвали на уроке родного языка, и я продекламировал в его честь стихи. Конечно, мое вранье вскоре обнаружилось, и меня чувствительно наказали. «Вот тебе, запомни на всю жизнь, надо всегда говорить правду и только правду, приговаривал отец, шлепая меня. Не знаю, возможно, что я с тех пор запомнил это, но говорить правду оказалось не легким делом. Во-первых, проклятый вопрос Понтия Пилата: «Что такое правда?», пока еще, при моей жизни, не решен. Сколько раз я искренне принимал за правду то, что было на деле самой настоящей ложью. Во-вторых, не столько за вранье, сколько именно за правду бьют, причем не любя, а нещадно, часто до смерти. И в-третьих, не горькая правда, а сладкая ложь доставляет нам утешение, наслаждение.

Когда я окончил «реалку», а окончил я ее с отличием, отец взял меня в виде награды с собой в Триест (тогда австрий-

ский морской порт), куда он ездил в служебную командировку. Там я впервые в жизни увидел море – голубое, Адриатическое! Как сегодня, вижу все это. Поезд спускается с холмов, раннее утро, мы только что проснулись. Я не отхожу от окошка, прилип к нему, хочу первый увидеть море. И вдруг внезапно исчезает линия горизонта, – это голубой небосвод сливается с таким же голубым морем. От удивления, радости, восторга, я вскрикиваю: «Море, море, посмотрите, море!», точно так, как те древние греческие воины, прокричавшие «Талата, талата!», когда они после изнурительного похода наконец добрались до его берегов.

В Триесте я запомнил, пожалуй, только именно море и набережную с молами, со звучными названиями «Санто Карло», «Де ля санита», многочисленными судами, пеструю гомонящую толпу, по преимуществу итальянского населения (в окрестностях города проживали словенцы), и еще небольшой канал с рыбацкими лодками, с фруктовым и рыбным базаром на его берегах. Мы пробыли в Триесте дня четыре. Посетили мраморный белый замок Мирамаре, бывший прежде летней резиденцией императрицы. Ездили пароходом на курортный остров Градо, всего какой-нибудь час или два езды, но ведь это была моя первая поездка по морю. Было это в воскресный день, народ ехал отдыхать, веселый, с гитарами, всю дорогу не затихали песни, танцы на палубе, и, конечно, были и большие бутылки вина в плетенках.

После поездки в Триест, за год до смерти отца, – я был уже

студентом второго курса, – состоялось наше путешествие в Берлин, куда отец ездил также в командировку. Берлин был первым большим городом, который я увидел. По сравнению с ним, наша Прага была жалкой провинцией. Берлин производил впечатление настоящего «каменного мешка». Какая подавляющая человека монументальность всех этих напыщенных дворцов, колоссальных размеров памятников всяким курфюрстам, военачальникам в «Аллее победы», Бранденбургские ворота, церкви, музеи – все рассчитано на то, чтобы поразить размером покрупнее, помассивнее. Ужасающая безвкусица! Но какое движение автомашин на улицах! И сколько повсюду военных и полицейских в касках – шуцманов и ненавистных надменных морд пруссаков и пруссачек! И на каком резком, неблагозвучном берлинском наречии немецкого языка они говорят! И какая невкусная, по сравнению с чешской, эта их еда! Все это вместе взятое удручало меня. Конечно, музеи были чудесные, в них были собраны многие сокровища древнего, восточного, а также и современного искусства, свезены сюда правдой и неправдой, куплено за бесценок или просто награблено, затем классифицировано и хранимо с немецкой педантичностью. И мы с отцом, валясь с ног от усталости, носились по музеям, да вообще старались за короткий срок пребывания в городе не пропустить ни одной достопримечательности.

Побывали мы и в красивых окрестностях Берлина, в прекрасных кварталах богачей, на полянах, поросших розовым

и белым вереском, в чистеньких поселках Бранденбурга, названия которых свидетельствуют о том, что когда-то всю эту местность заселяли выгубленные затем славяне, а также на озере Ванзее. Не предчувствовал я тогда, при каких обстоятельствах мне придется в следующий раз побывать в Берлине и вообще в Германии.

Другие два путешествия я совершил самостоятельно, без опеки родных, одно втроем, с двумя друзьями – Трнобранским и Макариусом. Оно было настоящим пешеходно-туристским. Долго мы выбирали, куда направиться, как легендарный Буриданов осел не мог выбрать между двумя охапками сена, так и мы не знали, чему дать предпочтение: Татрам или Альпам. Наконец, мы остановились на Альпах, на Тироле, из-за льготного железнодорожного проезда, густой сети дешевых туристских ночлежек, и не в последнюю очередь из-за того, что здесь нам не придется иметь дело с неизвестным мадьярским языком (Татры ведь в Словакии, тогда входящей в Венгрию), и в особенности с венгерскими жандармами, которые преследовали чешских туристов.

Поездом мы доехали до Зальцбурга. И примерно после недельного пути добрались до городка Бергель, стоящего на середине пути к нашей цели – столице Тироля – Иннсбруку.

Но тут мы обнаружили постигшую нас катастрофу: у нашего казначея Макариуса, самого аккуратного и расчетливого из нашей тройки, пропал бумажник, в котором хранилась основная часть наших финансов. Не то он как-то вы-

ронил его, не то его у нас вытащили из рюкзака в одной из ночлежек. Мы побранили Макариуса, горевавшего больше нас всех, но что же делать, как нам быть дальше? Конечно, было несколько выходов из этого пикового положения. Дать телеграммы домой, попросить перевести нам по телеграфу деньги. Но это мы единодушно отвергли, стыдно было за наше ротозейство. Мы могли бы продать имеющиеся при нас ценности – часы, колечки – но все они были даренные (у меня было недорогое, но необыкновенного вида кольцо с печаткой, бабушкин подарок), никому не хотелось расставаться с ними, да и выручили бы мы не очень много. А кто-то из нас предложил, чтобы мы стали просто побираться – петь и рисовать картинки – портреты крестьян, а главное крестьянок и их детей, для чего сначала надо купить бумагу и акварельные краски, а плату будем получать натурой, питанием и ночлегом. Но в результате состоявшегося совета, все эти предложения были отвергнуты. Мы решили бесславно прекратить наш поход и вернуться поездом в Прагу, самым дешевым, четвертым классом, на что у нас в обрез, как мы подсчитали, но все же хватило денег. Так мы до Тироля и не добрались.

И еще одно путешествие довоенного времени, на этот раз в Вену, в столицу Австрии. Собственно говоря, я осуществил его уже будучи студентом после смерти отца, но упомяну его здесь. В Вене тогда состоялся одиннадцатый Всемирный сионистский конгресс, и железные дороги предоста-

вили возможность удешевленного проезда туда и обратно, что они охотно делали для безразлично каких более или менее крупных сборов. Хотя я и не был членом сионистской политической организации, и тем более, разумеется, делегатом или гостем конгресса, но, как я уже об этом писал, был связан со студенческим сионистским обществом «Бар-Кохба». Через это общество я приобрел билеты со скидкой и поехал в Вену, где пробыл неделю, пока длился конгресс. О его ходе я знал только из рассказов его гостей и участников, студентов, с которыми жил в каком-то общежитии. И еще по венским газетам, некоторые из которых вели травлю не только сионистов, но всех евреев. Ведь венским бургомистром был тогда Луэгр, воинствующий антисемит. Выбрали себе сионисты подходящее место для конгресса! Заправилами на нем были крупные капиталисты во главе с Хаимом Вейцманом, известным ученым-химиком, ставшим позднее первым президентом государства Израиль.

Он ориентировал сионистское движение на то, чтобы оно искало опору в британском империализме, заинтересованном в том, чтобы удержать свои позиции в Палестине. Для этого сионисты, начиная с самого своего учредительного Базельского конгресса в 1897 году, руководимые основателем сионизма Герцелем, держали курс на Турцию, на «кровавого султана» Абдул-Хамида. А теперь, после Второй мировой войны, израильские руководители опираются на США. Но на венском конгрессе была и многочисленная левая, социа-

листическая оппозиция, происходили жаркие дискуссии. До всей этой политики мне тогда не было никакого дела, и я не разбирался в ней. Политику, в частности и в особенности международную, дипломатию, я отождествлял с политиканством, этим корыстным и коварным злоупотреблением общественными делами в низменных, эгоистических личных и групповых, кастовых интересах. К сожалению, в чересчур многих случаях, это недалеко от истины.

Пора, непосредственно предшествующая Первой мировой войне, ощущалась нами, жителями Центральной и Западной Европы, как подлинно мирная, спокойная, тихая, чтобы не сказать скучная, довольно скупая на волнующие умы события. Кто же мог подозревать тогда, что все без исключения генеральные штабы давно уже разработали планы кровавой бойни, имевшей все шансы превратиться в мировую? Конечно, и по Австро-Венгрии прокатились отголоски русской революции 1905 года – рабочими демонстрациями, всеобщей забастовкой, возглавлявшейся социал-демократами борьбой за всеобщее равное и тайное право выборов в парламент. Случались и разного рода «инциденты» – небольшие, локализованные конфликты из-за захватнических действий той или иной империалистической державы, не прекращалась борьба между одиннадцатую национальностями, находившимися под властью Габсбургов.

Бывали, разумеется, события, которые раскрашивали эти будни. Мне запомнились два из моих школьных лет. Одно –

это было посещение Праги императором. К Францу Иосифу, этому преклонного возраста монарху, у чешского обывателя было двойственное отношение. С одной стороны его ненавидели как олицетворение проводимой правительством германизации и грубого подавления гражданских прав и свобод, а с другой стороны, над ним добродушно посмеивались, подтрунивали, – в ходу была масса анекдотов, за распространение которых полагались «строгие» наказания («оскорбление величества» считалось одним из тягчайших государственных преступлений). А добрые души жалели его: супругу его, якобы гуманнейшую женщину, убили; сын – наследник принц Рудольф будто бы влюбился в какую-то актрису и решил стать рядовым гражданином; брата императора Максимилиана расстреляли в Мексике; эрцгерцог Франц Фердинанд д'Эсте, о характере и политических установках которого ходили самые противоположные слухи, став наследником, интриговал против Франца Иосифа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.